

МАСТЕРА ПСИХОЛОГИИ

Карл Густав Юнг

ПРОБЛЕМЫ  
ДУШИ  
НАШЕГО  
ВРЕМЕНИ



Мастера психологии

Карл Юнг

**Проблемы души нашего времени**

«Питер»

1930

УДК 159.964.2  
ББК 88.32

**Юнг К. Г.**

Проблемы души нашего времени / К. Г. Юнг — «Питер»,  
1930 — (Мастера психологии)

ISBN 978-5-496-02567-6

Эта книга впервые вышла в 1930 году и пережила большое количество изданий. Она является одним из основополагающих трудов в аналитической психологии, охватывает широчайший спектр проблематики: от традиционных для психоанализа вопросов терапии психических расстройств до глобальных проблем существования человека в обществе. Автор – выдающийся швейцарский ученый XX столетия К. Г. Юнг – знакомит читателей с глубинными уровнями психики человека, с «попытками и стремлениями постичь необъятную проблему души». Книга адресована студентам, аспирантам, преподавателям гуманитарных вузов, а также всем тем, кто самостоятельно пытается понять мотивы бессознательной деятельности человека, влияющие на его мышление и поведение.

УДК 159.964.2

ББК 88.32

ISBN 978-5-496-02567-6

© Юнг К. Г., 1930

© Питер, 1930

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| Предисловие к первому изданию  | 6  |
| Предисловие ко второму изданию   | 7  |
| Проблемы современной психотерапии[1]   | 8  |
| Об отношении аналитической психологии к произведениям художественной литературы[6] | 22 |
| Противоречия Фрейда и Юнга[13]   | 35 |
| Цели психотерапии[24]  | 40 |
| Конец ознакомительного фрагмента.  | 48 |

# **Карл Густав Юнг**

## **Проблемы души нашего времени**

© ООО Издательство «Питер», 2017

© Серия «Мастера психологии», 2017

## Предисловие к первому изданию

Опубликованные в этом томе статьи и сообщения, в сущности, обязаны своим возникновением вопросам, поставленным передо мной действительностью. Уже сама по себе постановка вопросов дает определенное представление о проблематике нашего времени. И подобно вопросам, ответы также проистекают из моего личного профессионального опыта наблюдения за душевной жизнью нашего достопримечательного времени. Основное заблуждение публики состоит в том, что якобы имеются ответы, «решения» или взгляды, которые нужно только кому-нибудь высказать, чтобы внести необходимую ясность. Но настоящая истина ничего не стоит, как показывает история на многочисленных примерах, если она не стала кровным внутренним опытом. Каждый же однозначный, так сказать ясный, ответ всегда застревает в голове и только в редчайших случаях проникает в сердце. Нам нужно не «знать» истину, а постичь ее. Не обладать интеллектуальным воззрением, а найти путь к внутреннему, возможно бессловесному, иррациональному опыту – вот в чем основная проблема. Нет ничего бесплоднее, чем говорить о том, что это должно быть, и нет ничего важнее, чем найти путь, ведущий к этим дальним целям. Наверное, большинство знает, как это должно быть, но кто укажет путь, которым можно было бы туда дойти?

Как указывает уже само название книги, речь идет о проблемах, но не об их решениях. Душевные устремления нашего времени пока еще находятся в состоянии проблематики; пока мы только ищем сущностную постановку этих вопросов, которая, если бы она была найдена, означала бы половину решения. Таким образом, эти сочинения знакомят внимательного читателя с попытками и стремлениями постичь необъятную проблему души, которая терзает современного человека, пожалуй, еще в большей степени, чем она занимала его ближних и дальних предков.

*Автор и издатель*

*Кюснахт – Цюрих, декабрь 1930 г.*

## Предисловие ко второму изданию

Поскольку со времени появления первого издания прошло только полтора года, то нет оснований для существенных изменений в тексте. Поэтому собрание моих сочинений выходит в неизменной форме. Я не услышал также принципиальных возражений и не встретил непонимания в связи с обсуждаемыми вопросами. Поэтому нет также оснований для более длинного предисловия. Во всяком случае, не раз сделанный мне упрек в психологизме не может быть поводом к более длинному экскурсу. Разве что наивный человек будет от меня ожидать, что я предпочту своим собственным областям работы точку зрения метафизиков или теологов. Я никогда не смогу психологически рассмотреть и обсудить все обозримые душевные явления. То, что не существует окончательной истины, знает каждый здравомыслящий человек. Абсолютные заключения бывают только в области веры, в любом другом случае – это нескромность.

*Автор и издатель*

*Кюснахт – Цюрих, июль 1932 г.*

## Проблемы современной психотерапии<sup>1</sup>

Психотерапия, то есть лечение души и лечение душой, в широких слоях общества до сих пор отождествляется с психоанализом.

Слово «психоанализ» стало настолько общественным достоянием, что каждому, кто его употребляет, кажется, что он понимает, что под ним подразумевается. Но что, собственно, это слово означает, дилетанту неизвестно. Оно обозначает – по воле его создателя – изобретенные Фрейдом методы сводить душевные симптомокомплексы к некоторым вытесненным душевным процессам. А так как эта процедура невозможна без соответствующего осмысления, понятие «психоанализ» включает в себя также некоторые теоретические предпосылки, а именно теорию сексуальности, на чем категорически настаивал автор. Однако, несмотря на это, дилетант употребляет понятие «психоанализ» просто для всех современных попыток научно-методическим путем подойти к душе. Так, в психоанализ включают также и школу Адлера, несмотря на то что взгляд Адлера и метод Фрейда, по-видимому, непримиримо противостоят друг другу. Поэтому сам Адлер называет свою психологию не «психоанализом», а «индивидуальной психологией», тогда как я предпочитаю выражение «аналитическая психология», имея в виду новое понятие, которое включает в себя «психоанализ», «индивидуальную психологию» и другие направления в области *комплексной психологии*.

Так как есть только одна человеческая душа, то, наверное, есть также только одна психология, кажется дилетанту. Поэтому он принимает различия в подходах либо за субъективные измышления, либо за известные попытки маленьких людей самим взобраться на трон. Я мог бы легко продолжить список «психологий», если бы упомянул также и другие направления, которые не входят в понятие «аналитическая психология». Фактически имеется много различных методов, точек зрения, взглядов и убеждений, которые борются друг с другом главным образом потому, что они друг друга не понимают, а поэтому не хотят друг с другом считаться. Многосторонность и различность психологических мнений нашего времени удивительна, а для дилетантов необозрима и запутана.

Если в учебнике патологии обнаруживается, что для одной болезни предлагаются многочисленные лекарственные средства самой разной природы, то из этого можно сделать вывод, что ни одно из них не является особо действенным. И если также указывается множество различных путей, которые должны вести нас к душе, то можно с уверенностью предположить, что ни один из них не приведет к цели, по крайней мере тот путь, который так фанатично расхваливается. На самом деле множество современных психологий является выражением трудности проблемы. Подход к душе и сама душа постепенно выявляются как трудная задача, как «проблема с рогами», если употребить выражение Ницше. Неудивительно поэтому, что накапливаются попытки снова и снова, с других сторон, подступиться к трудноразрешимой загадке. Из этого с неизбежностью следует полное противоречий множество точек зрения и мнений.

Примем же вместе со мной, что если мы будем говорить о «психоанализе», то не станем ограничиваться его узким определением, а будем вести речь вообще об успехах и неудачах всех тех устремлений, которые до сегодняшнего дня предпринимаются ради решения проблемы души и которые мы охватываем понятием аналитической психологии.

Впрочем, почему человеческая душа сегодня стала вдруг столь интересным для познания фактом? Ведь на протяжении тысячелетий она такого интереса не вызывала. Я только хочу задать этот, по-видимому, непреложный вопрос, но не ответить на него. Очевидно, последние цели сегодняшнего психологического интереса подспудно связаны с этим вопросом.

---

<sup>1</sup> Опубликовано в: Schweizerisches Medizinisches Jahrbuch (Basel, 1929) [Ges. Werke XVI (1958)]. – *Примеч. ред.*

Все, что входит сегодня в дилетантское понятие «психоанализ», имеет источником врачебную практику, поэтому все это является не более чем медицинской психологией. Консультационная комната врача наложила на эту психологию свой отпечаток, который нельзя недооценивать. Это сказывается не только на терминологии, но также и на образовании теоретических воззрений. Прежде всего повсюду мы наталкиваемся на естественно-научные биологические предположения врача. Из-за этого в основном возникло отчуждение академических гуманитариев от современной психологии, так как последняя объясняет все исходя из иррациональной природы, тогда как первые основываются на духе. Эта и без того труднопреодолимая дистанция между природой и духом возрастает в еще большей степени из-за медико-биологической терминологии, которая нередко представляется действительно профессиональной, но зачастую слишком сложна для понимания.

Хотя я и считаю, что изложенные здесь общие замечания насчет путаницы понятий в этой области нелишни, я бы хотел все же обратиться теперь к нашим собственным задачам, а именно проследить за достижениями аналитической психологии.

При чрезвычайном разнообразии направлений нашей психологии лишь с трудом можно определить общую точку зрения. Если поэтому я пытаюсь подразделить направления и работы в этой области на классы, или – лучше сказать – на ступени, то делаю это с понятной оговоркой, что речь идет о предварительной попытке, которой может быть, вероятно, поставлена в упрек та же произвольность, что и покрывающей земной шар координатной сетке. Во всяком случае, я хотел бы отважиться рассмотреть общий результат под углом зрения четырех ступеней, а именно признания, разъяснения, воспитания и преобразования. В дальнейшем я попытаюсь обсудить эти, возможно, чуждые понятия.

Предшественницей всякого аналитического лечения души является исповедь. Однако поскольку такая исповедь определяется не причинными, но иррациональными, психическими связями, то постороннему человеку трудно сразу соотнести основы психоанализа с религиозным институтом исповеди.

Как только человеческому духу удалось выдумать идею греха, возникло психически сокрытое, на аналитическом языке – вытесненное. Сокрытое есть тайна. Обладание тайным действует подобно душевному яду, который отчуждает носителя тайного от общества. Этот яд в малых дозах может быть неопределимым лекарственным средством, даже необходимым предварительным условием для индивидуальной дифференциации человека, причем настолько необходимым, что человек уже на первобытной ступени развития ощущает потребность выдумывать тайны, чтобы благодаря обладанию ими защитить собственную душу от смертельной опасности растекания ее в бессознательном сообществе. Этому инстинкту дифференциации служат, как известно, широко распространенные древнейшие освящения с их оккультными таинствами. Даже христианское причастие еще в древней церкви считалось таинственным и упоминалось только намеками, на аллегорическом языке.

Разделенная со многими тайна действует настолько же благотворно, насколько разрушающе действует тайна личная. Она подобна вине, отделяющей ее несчастного владельца от общности с другими людьми. Если при этом сокрытое от других осознается, то ущерб, несомненно, меньше, чем в обратном случае, то есть когда сокрытое вытеснено. В этом последнем случае сокрытое содержание не хранится больше сознательно в тайне, а утаивается даже от самого себя; оно отщепляется в виде самостоятельного комплекса от сознания и ведет в области бессознательной души существование особого рода, недоступное сознательному вмешательству и коррекции. Комплекс образует, так сказать, маленькую обособленную психику, которая, как показал опыт, сама по себе развивает своеобразную деятельность фантазии. Фантазия же вообще есть самостоятельная деятельность души, которая прорывается везде, где действие чинящего препятствия сознания либо ослабевает, либо прекращается вовсе, как, например, во сне. Во сне фантазия проявляется в виде сновидения. Но и во время бодрствования мы можем меч-

тать под порогом сознания, особенно благодаря вытесненным или иным бессознательным комплексам. Надо, между прочим, отметить, что бессознательные содержания состоят не только из ранее осознанных и впоследствии ставших из-за вытеснения бессознательными комплексов. Бессознательное имеет также свои особые содержания, которые исходят из неизведанных глубин, чтобы постепенно достичь сознания. никоим образом нельзя представлять себе бессознательную психику как простое хранилище для содержаний, которые не принимаются сознанием.

Все бессознательные содержания, которые либо приблизились снизу к порогу сознания, либо лишь немного под него опустились, имеют обыкновение воздействовать на сознание. Но поскольку содержание этих воздействий на самом деле не таково, каким кажется, то они являются необходимым образом опосредованными. Большинство так называемых *ошибочных действий* сознания проявляются в нарушениях, традиционно обозначаемых как *невротические симптомы*, которые с точки зрения медицины имеют в целом психогенную природу. (Исключениями являются такие шоковые воздействия, как, например, разрывы гранат и т. д.) Самые легкие формы неврозов – это ошибочные действия сознания, например оговорки, неожиданное выпадение имен и дат, неожиданные неловкости, повлекшие за собой повреждения или травмы, недопонимание и, так сказать, галлюцинации памяти (думается, что якобы так-то было сказано или сделано), неверные мнения об услышанном или прочитанном и т. д.

Во всех этих случаях благодаря тщательному расследованию может быть доказано существование некоторого содержания, которое опосредованно и бессознательно нарушило работу сознания.

В целом вред бессознательной тайны больше, чем осознанной. Я встречал многих пациентов, которые вследствие тяжелых жизненных обстоятельств, в которых слабые натуры лишь с трудом могут удержаться от порыва к самоубийству, развили такую же тенденцию. Однако благодаря благоразумию они все-таки предотвратили этот порыв, создав тем самым бессознательный комплекс самоубийства. Бессознательное стремление к самоубийству вызывало отныне такие переживания и события, как, например, неожиданные приступы головокружения, нерешительность при переходе через улицу, ошибочное употребление сублимата вместо микстуры от кашля, неожиданное удовольствие от опасной акробатики и многое другое. Если в таких случаях удавалось сделать осознанным стремление к самоубийству, то сознательное осмысление устраняло этот комплекс, возможность самоубийства осознавалась и устранялась.

Всякая личная тайна действует подобно вине и греху, независимо от того, является ли она таковой или нет с точки зрения общепринятой морали.

Другая форма сокрытия – это сдержанность. Тем, что обычно сдерживается, являются аффекты. Здесь также сначала нужно подчеркнуть, что сдержанность есть полезная и целебная добродетель. Мы считаем самодисциплину одним из наиболее ранних искусств уже у первобытных народов, где она является частью ритуала посвящения, главным образом в форме stoического перенесения боли и страха и аскетического воздержания. Но здесь сдержанность предстает внутри тайного союза как разделенное с другими деяние. Но если сдержанность является личной – вне связи с каким-либо религиозным воззрением, – то она может, как и личная тайна, вредить. Чрезмерная добродетель – источник плохого настроения и раздражительности. Сдержанный аффект также является чем-то, что сокрыто, что может быть утаено даже от самого себя, искусством, которым отличаются преимущественно мужчины, в то время как женщины, за небольшим исключением, имеют природную склонность не стесняться в проявлении чувств. Сдержанный аффект действует так же изолирующе и так же дезорганизующе, как и неосознаваемая тайна. Природа как бы обижается на нас, когда мы благодаря тайне возвышаемся над человечеством. Она злится на нас и в том случае, если мы утаиваем от других людей свои эмоции. Природе в этом смысле присуща *horror vacui*<sup>2</sup>, а потому нет ничего нетерпимее, чем

---

<sup>2</sup> Боязнь пустоты (лат.). – Примеч. ред.

равнодушная гармония на основе сдержанных аффектов. Случается, что вытесненные эмоции являются тем же, что и тайна. Чаще, однако, здесь не существует достойной упоминания тайны, а есть просто бессознательно сдержанные аффекты, которые обязаны своим происхождением совершенно осознанной ситуации.

Преобладание тайны или аффекта обуславливает, вероятно, различные формы неврозов. Щедрая на аффекты истерия основывается главным образом на тайне, в то время как закоренелый психастеник страдает от беспокоящего переваривания аффекта.

Тайна и сдержанность – на эти вредные вещи природа в конце концов реагирует болезнью. Разумеется, они вредны только в тех случаях, когда являются исключительно личными. Но если они разделяются в обществе с другими людьми, то природа удовлетворяется, и тогда они могут быть даже полезными добродетелями. Темное, несовершенное, глупое, виновное в человеке утаиваются для самозащиты. Утаивание своей неполноценности является таким же первородным грехом, что и жизнь, реализующаяся исключительно через эту неполноценность. То, что каждый, кто никогда и нигде не перестает гордиться своим самообладанием и не признает свою богатую на ошибки человеческую сущность, ощутимо наказывается, – это похоже на своего рода проявление человеческой совести. Без этого от живительного чувства быть человеком среди других людей его отделяет непреодолимая стена.

Этим объясняется необычайное значение правдивых исповедей – истина, которая, наверное, была известна всем инициациям и тайным культам древности, что доказывает античное сакральное изречение: «Освободись от того, что имеешь, и ты будешь принят».

Это изречение ныне мы можем сделать девизом первой ступени психотерапевтической проблематики. Ведь, в сущности, истоки психоанализа не представляют собой ничего иного, как по-научному заново открытую старую истину; само название, которое было дано первому методу, а именно *катарсис* = очищение, есть известное понятие античных посвящений. Первоначальный метод катарсиса, в сущности, заключается в том, что больной посредством гипнотической параферналии или без нее перемещается на задний план своего сознания, то есть в состояние, которое в восточной системе йоги считается состоянием медитации, или созерцания. Но в отличие от йоги предметом созерцания является спорадическое появление сумеречных следов представлений, будь то образы или чувства, которые отделяются от невидимых содержаний бессознательного, чтобы хотя бы тенью предстать повернутому вовнутрь взору. Таким образом, вытесненное и потерянное вновь возвращается назад. Это уже достижение – пусть даже порой и неприятное, – ведь теперь неполноценное и даже предосудительное принадлежит мне, дает мне сущность и тело; это моя *тень*. Разве я могу вообще существовать, не отбрасывая тени? Темное также принадлежит моей целостности, и в тот момент, когда я осознаю свою тень как часть себя самого, я снова приобретаю воспоминание о том, что я человек, как и все другие. Во всяком случае, с помощью этого поначалу безмолвствующего открытия заново собственной целостности воссоздается прежнее состояние, из которого произошел невроз, то есть отщепленный комплекс. При умалчивании изоляция продолжается, а улучшение может наступить только частичное. Однако благодаря признанию я снова обретаю человечество, освобождаясь от тяжести морального изгнания. Метод катарсиса предполагает *полное признание*, то есть не только интеллектуальную констатацию сущности дела умом, но также и разрешение сдержанных аффектов, констатацию состояния дела сердцем.

Велико влияние такого признания на наивную душу, удивительно част успех лечения. Я же хотел бы усматривать основной успех нашей психологии на этой ступени не только в том, что излечиваются некоторые болезни, а в большей степени в систематическом подчеркивании значения признания. Это касается нас всех. Все отделены друг от друга тайнами, а через пропасти между людьми ведут обманчивые мосты мнений и иллюзий вместо прочного моста признания.

Я бы не хотел тем самым выдвинуть всем в мире требование признаваться. Даже нельзя себе представить, каким пошлым было бы всеобщее всестороннее признание в грехах. Психология только констатирует то, что здесь лежит удивительный факт первого порядка. Этот факт не может взяться непосредственно из лечения, потому что тогда он снова будет сам по себе проблемой с совершенно по-другому наостренными рогами, как нам это пояснит следующая ступень, а именно *разъяснение*.

Очевидно, новой психологии было бы обеспечено всеобщее признание, если бы катарсис проявил себя всеисцеляющим средством. Во-первых и прежде всего, не всегда удается приблизить пациентов к бессознательному настолько, чтобы они были в состоянии воспринимать тень. Скорее наоборот, многие – а это особенно сложные натуры с развитым сознанием – так уцепились за сознание, что никак не могут от него оторваться. Они развивают сильнейшее сопротивление всякой попытке оттеснения сознания, они хотят на сознательном уровне вести речь с врачом и разумно изложить и обсудить свои трудности. С них достаточно признания сознательного, для этого они не должны обращаться к бессознательному. Такие пациенты требуют особой техники приближения к бессознательному.

Этот факт сразу же ограничивает применение катартического метода. Еще одно ограничение возникает позднее, вводя нас в проблематику второй ступени – разъяснения. Допустим, что в одном определенном случае состоялось катартическое признание, невроз исчез, то есть симптомы стали невидимыми. Пациент вроде бы здоров и, следовательно, может прекратить лечение. Но он – или особенно она – не может уйти. Факт признания, по-видимому, связал пациента с врачом. Если эта кажущаяся бессмысленной связь насильственно разрушается, то возникает рецидив болезни. Знаменательно и даже удивительно то, что в определенных случаях связь с врачом может и не возникнуть; пациент уходит внешне здоровым, но отныне он настолько околдован задним планом своей души, что продолжает самостоятельно заниматься с помощью катарсиса издержками своего приспособления к жизни. Он связан бессознательным с самим собой, но не с врачом. С такими пациентами случается, очевидно, то же, что когда-то произошло с Тесеем и его спутником Перифоем, которые, спустившись в царство Аида, чтобы поднять наверх богиню подземного мира, и устав от спуска, присели отдохнуть и больше уже не могли встать из-за того, что крепко приросли к скале.

Эти удивительные и непредвиденные случаи требуют такого же тщательного разъяснения, как и случаи, упомянутые вначале, то есть случаи, оказывающиеся недоступными добрым намерениям катарсиса. Хотя обе категории пациентов, по-видимому, абсолютно различны, однако и те и другие нуждаются в разъяснении, как это правильно признавал Фрейд. Совершенно очевидным этот факт становится в случаях второго рода, особенно если после успешного катарсиса пациент оказался связан с врачом. Подобная связь уже наблюдалась в качестве нежелательного последствия гипнотического лечения, но внутренние механизмы такого соединения оставались невыясненными. Сейчас известно, что интересующее нас соединение по своей сути тождественно связи между отцом и ребенком. Пациент при этом оказывается в своеобразной детской зависимости, от которой он не в состоянии защититься с помощью разума. Подобная фиксация может быть чрезвычайно сильной, причем сильной настолько, что можно, пожалуй, предполагать здесь совсем уж необычные мотивы. Соединение такого рода представляет собой процесс, протекающий вне сознания. Поэтому сознанию пациента ничего о нем не известно. Возникает вопрос: как же подступиться к этой новой проблеме? Очевидно, речь идет о невротической картине, о новом симптоме, который был просто спровоцирован лечением. Несомненным внешним признаком здесь является то, что эмоциональное насыщенное воспоминание об отце было перенесено на врача, из-за чего врач *volens volens*<sup>3</sup> кажется отцом и как таковой в известной степени превращает пациента в ребенка. Разумеется, дет-

---

<sup>3</sup> Волей-неволей, хочешь не хочешь (лат.). – Примеч. ред.

скость пациента не возникла только теперь, а существовала всегда, но до этого она была вытеснена. Теперь она всплывает на поверхность и стремится воссоздать детско-семейную ситуацию, ведь вновь нашелся давно утерянный отец. Фрейд удачно назвал этот симптом *переносом*. То, что возникает некоторая зависимость пациента от готового помочь врача, есть, в конце концов, вполне нормальное и по-человечески понятное явление. Ненормальное и неожиданное здесь – только ее необычайная стойкость и недоступность сознательной коррекции.

Одним из главных достижений Фрейда является то, что он объяснил природу этой связи, по крайней мере в ее биологическом аспекте, и тем самым способствовал развитию психологического знания. Сегодня окончательно доказано, что такая связь вызывается существованием бессознательных фантазий. Эти фантазии носят главным образом, так сказать, *инцестуозный* характер. Этим, по-видимому, вполне объясняется тот факт, что фантазии остаются бессознательными, ибо даже от самого скрупулезного признания нельзя ожидать, что в нем будут выражены фантазии, которые вряд ли были когда-либо осознанными. И хотя Фрейд всегда говорит об инцестуозных фантазиях как о вытесненных, опыт показывает, что во многих случаях они либо вообще никогда не были содержанием сознания, либо по крайней мере были осознаны только в самых тончайших намеках, вследствие чего они не могли быть вытеснены с сознательной целью. Согласно данным современных исследований, представляется более вероятным, что инцестуозные фантазии в основном были бессознательными и оставались таковыми до тех пор, пока, собственно, не были вынесены на дневной свет аналитическим методом. Но это отнюдь не означает, что перемещение бессознательного наверх есть предосудительное вмешательство в природу. Это, безусловно, нечто вроде хирургической операции души, которая, однако, совершенно необходима, поскольку инцестуозные фантазии вызывают симптомокомплекс переноса. А он хоть и является, по-видимому, искусственным продуктом, обладает тем не менее негативным аспектом.

В то время как катартический метод вновь возвращает «Я» содержания, осознание которых в принципе возможно и которые должны были бы быть в норме частью сознания, разъяснение переноса вскрывает, в свою очередь, такие содержания, которые в такой форме вряд ли когда-либо могли быть осознанными. В этом – принципиальное различие между ступенями признания и разъяснения.

До сих пор мы говорили о двух категориях случаев: о тех, в которых пациенты оказывались недоступными катарсису, и о тех, когда после успешного катарсиса пациенты оказывались фиксированными, или, вернее, у них происходил перенос. Случаи второго рода мы уже обсудили. Но наряду с этим есть и такие пациенты, как уже было упомянуто, у которых связь возникает не с врачом, а скорее с собственным бессознательным. В этих случаях образ родителей не переносится на человеческий объект, а остается представлением фантазии, но это представление обладает такой же притягательной силой и вызывает такое же соединение, как и перенос. Первая категория пациентов, которая, безусловно, недоступна катарсису, объясняется в свете фрейдовского исследования тем фактом, что они еще до того, как приступить к лечению, отождествляют себя с родителями, что наделяет их тем авторитетом, независимостью и критикой, благодаря которым они с успехом сопротивляются катарсису. Это, как правило, образованные, дифференцированные личности, не павшие безропотно жертвами бессознательной деятельности образа родителей. Скорее наоборот, они овладевают этой деятельностью, бессознательно отождествляя себя с родителями.

В отношении феномена переноса простое признание оказывается непригодным, что послужило поводом к значительному изменению Фрейдом первоначального катартического метода Брейера. То, что Фрейд отныне стал делать, было названо им «методом толкования».

Это дальнейшее развитие вполне логично, потому что отношения переноса в особенности требуют разъяснения. Насколько это важно, вряд ли может дать себе отчет дилетант, а тем более врач, который неожиданно оказывается втянутым в ткань непонятных, фантастических

восприятий. То, что пациент переносит на врача, должно быть истолковано, то есть разъяснено. Поскольку даже сам больной не знает содержания своего переноса, то врачу необходимо подвергнуть толкованию имеющиеся отрывки его фантазий. Самыми непосредственными и важными продуктами такого рода являются *сновидения*. Фрейд исследовал область сновидений, связанную исключительно с содержанием вытесненного, и, естественно, вскрыл при этом те инцестуозные содержания, о которых я говорил ранее. Конечно, из такого расследования были получены не только инцестуозные материалы в узком смысле этого слова, а вообще все возможные низости, на которые способна человеческая природа. Их список очень длинный. Для того чтобы исчерпать его хотя бы в некоторой степени, потребуется работа протяженностью в целую жизнь.

Результатом фрейдовского метода разъяснения является педантичная разработка теневых сторон человека, о которых до этого мы и не подозревали. Это, пожалуй, самое действенное противоядие от всех идеалистических иллюзий относительно сущности человека. Поэтому неудивительно, что Фрейду и его школе повсюду оказывается мощнейший отпор. Я не хочу говорить о тех, кто имеет иллюзии насчет природы человека, но хотел бы подчеркнуть, что среди противников метода разъяснения немало и таких, кто не имеет подобных иллюзий, но все же считает, что нельзя объяснять человека односторонне – исключительно его теневыми сторонами. В конце концов, важна ведь не тень, а тело, которое эту тень отбрасывает.

Фрейдовский метод толкования – это, так сказать, редуктивное разъяснение. Но если такое разъяснение однобоко и не знает меры, оно становится разрушительным. И все же полученный из проделанной Фрейдом работы по изучению человеческой природы вывод о том, что природа эта имеет также и теневую сторону, причем не только сам человек, но и его творения, его институты и убеждения, – этот вывод был очень полезен для развивающейся психологической мысли. Самые чистые и самые святые наши воззрения покоятся на глубоких, темных основах, и, в конце концов, дом можно объяснять не только от конька крыши вниз, но также и от подвала вверх, причем последнее объяснение имеет еще и то преимущество, что генетически оно более верное, ибо дома строят не с крыши, а с фундамента и, кроме того, строить всегда начинают с самого простого и грубого. Здравомыслящий человек не будет отрицать, что приложение Саломоном Рейнахом примитивных тотемических воззрений к причастию не лишено смысла. Он также не будет отклонять возможность применения гипотезы инцеста к греческим мифам о богах. Конечно, болезненно для чувства – объяснять лучезарные вещи через их теневую сторону и тем самым низводить их, в известной степени, до печальной грязи начал. Но я считаю слабостью «красивых вещей» и слабостью человека, если при использовании тени в качестве объяснительного принципа что-нибудь из этого рода может быть разрушено. Ужас от фрейдовского толкования возникает у нас исключительно из-за нашей варварской или детской наивности, которая еще не знает того, что верх всегда предполагает низ и что «*les extrêmes se touchent*»<sup>4</sup> – абсолютная истина. Неверно, однако, было бы считать, что светлого, поскольку оно объясняется теневой стороной, отныне не существует. Это достойное сожаления заблуждение свойственно и самому Фрейду. Без света нет тени, без доброго нет злого, и наоборот. Поэтому я не могу сожалеть о потрясении, которое нанесло нашим иллюзиям и нашей ограниченности такое разъяснение. Наоборот, я приветствую его как необходимое и, пожалуй, беспрецедентное по своему значению историческое исправление; ведь вместе с ним привносится философский релятивизм, воплощенный в современной физике и математике Эйнштейном, а по сути являющийся малодоступной для нас восточной мудростью, в отношении которой невозможно предсказать, чем она еще для нас обернется.

Нет ничего бесплоднее интеллектуальных идей. Но если идея является *фактом души*, который без видимой исторической каузальной связи прокрадывается в различные области,

<sup>4</sup> Крайности сходятся (*франц.*). – Примеч. ред.

тогда дело стоит того, чтобы обратить на него внимание. Ведь идея, которая является душевным фактом, представляет собой в логическом и моральном отношении неопровержимую силу, которая могущественнее человека и его разума. Человек думает, что создает эти идеи, но в действительности они создают его, так что он бессознательно становится простым их рупором.

Чтобы снова вернуться к нашей проблеме фиксации, я хотел бы теперь обсудить вопрос, какое воздействие оказывает разьяснение. Замена фиксации ее темным задним планом обесценивает позицию пациента; он не может не видеть непригодного инфантилизма своих претензий, благодаря чему в одном случае он нисходит с мнимой высоты самовольно присвоенного авторитета до скромного уровня и определенной, возможно целебной, неуверенности в себе, а в другом – будет признавать, что предъявление претензий к другим является удобной инфантильной позицией, которая должна быть заменена большей собственной ответственностью.

Кому понимание этого что-нибудь говорит, тот сделает соответствующие моральные выводы и, вооруженный сознанием собственной недостаточности, ринется в борьбу за существование, чтобы истощить те силы и влечения, которые распорядились им до этого, либо упорно задерживая его в раю детства, либо по крайней мере заставляя его туда украдкой заглядывать. Нормальное приспособление и терпимость к собственной недостаточности без возможной сентиментальности и иллюзорности станут его ведущими моральными идеями. Необходимым следствием этого является отвлечение от бессознательного как от области ослабления и соблазна, влекущих за собой моральное и социальное поражение.

Проблема, которая отныне ставится пациенту, есть *воспитание социального человека*. Тем самым мы достигли третьей ступени. Простое понимание, обладающее достаточной побудительной силой для многих чувствительных в моральном отношении натур, оказывается несостоятельным для людей с незначительной моральной фантазией. Таких людей может подстегнуть только реальное бедственное положение; понимания для них недостаточно, пусть даже эти пациенты и убедились в его глубочайшей истинности. Я уже не говорю обо всех тех, кто понял очевидное толкование, но, по существу, в нем сомневается. И это опять-таки духовно дифференцированные люди, которые признают истинность редуکتивного объяснения, но не могут довольствоваться простым обесцениванием своих надежд и идеалов. И здесь разум также оказывается бессилем. Метод разьяснения рассчитан на чувствительные натуры, которые благодаря пониманию могут самостоятельно сделать моральные выводы. Разумеется, разьяснение простирается дальше, чем простое, неистолкованное признание, потому что оно по крайней мере просвещает дух и тем самым пробуждает дремлющие силы, которые могут оказать положительное воздействие. Но факт остается фактом, и разьяснение во многих случаях оставляет после себя хотя и понятливое, но тем не менее неприспособленное дитя. К тому же основной фрейдовский объяснительный принцип *удовольствия*, как показало дальнейшее развитие, является односторонним и поэтому недостаточным. Нельзя всех людей объяснять с этой стороны. Без сомнения, каждый имеет эту сторону, но она не всегда главная. Допустим, голодный человек получает в подарок красивую картину, но он предпочел бы горбушку хлеба. Или, например, влюбленного выбирают президентом Соединенных Штатов, но он предпочел бы заключить в объятия свою возлюбленную. В целом всех людей, не испытывающих затруднений с социальным приспособлением и социальным положением, можно скорее объяснить через принцип удовольствия, чем других, у которых такие затруднения существуют, или, другими словами, у кого из-за социальной неудовлетворенности имеется потребность в признании и власти. Старший брат, идущий по стопам отца и приобщающийся к социальной власти, будет томиться от неудовлетворенной потребности получать удовольствие, а младший брат, угнетаемый и обижаемый отцом и старшим братом, будет дразним честолюбием и потребностью в самоутверждении. Он подчинит этому все другие страсти, а потому они не будут представлять для него большой проблемы, по крайней мере проблемы жизненно важной.

Здесь в системе разьяснения имеется явный пробел, который устранил бывший ученик Фрейда Адлер. Он убедительно доказал, что многочисленные случаи неврозов намного лучше и удовлетворительнее могут объясняться *потребностью во власти*, чем принципом удовольствия. Цель его толкования состоит в том, чтобы показать пациенту, как он «аранжирует» симптомы и использует свой невроз для достижения фиктивного признания. Даже перенос, равно как и прочие фиксации, служит здесь цели достижения власти и в этом отношении представляет собой «человеческий протест» против мнимого угнетения. То, что имеет в виду Адлер, есть, очевидно, психология угнетаемых или лишенных социального успеха, единственным стремлением которых является потребность в самоутверждении. Невротическими такие случаи являются потому, что эти люди воображают себя угнетаемыми и во власти этой фикции ведут борьбу с ветряными мельницами, лишая себя при этом возможности достичь цели, которая для них наиболее желанна.

По существу, теория Адлера появляется на арене на ступени разьяснения, а именно разьяснения в только что указанном смысле, и в этом отношении она вновь апеллирует к разуму. Однако характерной для Адлера чертой является то, что он не ожидает слишком многого от простого понимания и, исходя из этого, ясно признает необходимость социального воспитания. В то время как Фрейд является исследователем и толкователем, Адлер – главным образом воспитатель. Он не оставляет беспомощным ребенка в болезни с его ценным, правда, пониманием, а пытается сделать его, используя все воспитательные средства, нормально приспособленным человеком. Это делается, очевидно, на основе убеждения, что социальное приспособление и нормализация есть желанная цель, безусловно нужное и желательное исполнение человеческой сущности. Из этой основной установки школы Адлера следует ориентация основного акцента на социальную силу воздействия и отказ от бессознательного, который случайно, как мне кажется, переходит в отрицание бессознательного. Поворот от фрейдовского подчеркивания роли бессознательного является, видимо, неизбежной реакцией, которая, как я уже упомянул ранее, соответствует естественному отвращению любого больного, стремящегося к выздоровлению и приспособлению. Ведь если бы бессознательное действительно было не чем иным, как простым хранилищем всех обычных теневых сторон человеческой природы, исключительно доисторическим отложением ила, то тогда в самом деле непонятно, зачем нужно находиться в болоте, в которое однажды попали, дольше, чем это требуется. Исследователю лужа может представляться удивительным миром, для обычного же человека она является тем, что лучше обойти. Подобно древнему буддизму, не имеющему богов в силу того, что он должен был выделиться из фона, образованного пантеоном с двумя миллионами богов, и психология в своем дальнейшем развитии должна непременно дистанцироваться от такой негативной вещи, как фрейдовское бессознательное. Воспитательные цели адлеровского направления появляются на арене в тот момент, когда Фрейд с нее сходит, и этим они отвечают понятным потребностям больного в результате приобретенного отныне понимания найти путь к нормальной жизни. Само собой разумеется, что ему самому не удастся узнать, как и откуда взялась болезнь, да и редко одно только понимание причины приносит с собой устранение недуга. Нельзя оставлять без внимания то, что ложные невротические пути становятся закоренелыми привычками и что, несмотря на все понимание, они не исчезают до тех пор, пока не заменятся другими привычками, приобрести которые можно только благодаря обучению. Эта работа может осуществляться исключительно через собственное воспитание. Пациент должен быть в полном смысле этого слова «переведен» на другие пути, что может быть осуществлено лишь при наличии у него соответствующего собственного желания. Теперь понятно, почему адлеровское направление находит наибольший отклик среди учителей и гуманитариев, тогда как фрейдовское привлекает главным образом врачей и интеллигенцию, которые – все без исключения – являются плохими воспитателями.

Каждая ступень развития нашей психологии обладает своего рода завершенностью. *Катарсис*, в основе которого лежит изливание души, позволяет некоторым людям думать: теперь это здесь, все проистекает из этого, все известно, весь страх позади, все слезы пролиты, теперь все должно быть лучше. *Разъяснение* говорит столь же убедительно: теперь мы знаем, откуда взялся невроз, самые ранние воспоминания раскопаны, последние корни найдены, а перенос был не чем иным, как чувственной фантазией рая детства или возвратом в семейный роман; путь к безыллюзорной жизни, то есть к нормальному существованию, открыт. И наконец, *воспитание* указывает на то, что криво выросшее дерево не вытянется в прямое благодаря признанию и разъяснению, а только благодаря искусству садовода может быть подведено под нормальную шпалеру. Теперь только достигнуто нормальное приспособление.

Эта удивительная завершенность, эмоционально присущая каждой ступени, явилась причиной того, что сегодня существуют врачи, практикующие катарсис, которые ничего, по-видимому, не слышали о толковании сновидений, сторонники Фрейда, которые ни слова не понимают у Адлера, и сторонники Адлера, которые ничего не хотят знать о бессознательном. Каждый исходит из завершенности своей ступени, а отсюда идет та путаница мнений и взглядов, которая крайне затрудняет ориентировку в этой области.

Почему же, однако, возникает чувство завершенности, вызывающее так много авторитарного упорства на всех ступенях?

Я не могу объяснить себе это не чем иным, как лежащей в основе каждой ступени некоторой окончательной истиной, и тем, что снова и снова становятся известными случаи, которые самым убедительным образом эту истину доказывают. Истина же в нашем чрезвычайно богатом на заблуждения мире является такой драгоценностью, что никто не хочет от нее отказываться, кроме некоторых, так сказать, исключений, не желающих с нею согласиться. А кто сомневается в истине, тот неизбежно предстает вероломным вредителем, в дискуссию же повсюду примешивается нота фанатизма и нетерпимости.

И все же каждый несет светило познания только на определенном отрезке пути, пока его не примет кто-нибудь другой. Если бы этот процесс понимали иначе, чем личный, если бы стало возможным допустить, что мы не есть личные творцы нашей истины, а ее представители, простые выразители современных душевных потребностей, то, наверное, можно было бы избежать и яда и горечи, а наш взор сумел бы увидеть глубинные и надличностные связи человеческой души.

Надо отдавать себе отчет в том, что врач, практикующий катарсис, – это не просто абстрактная идея, автоматически не способная породить ничего другого, кроме катарсиса. Практикующий катарсис врач – это еще и человек, и, хотя его мышление ограничено определенной сферой, в своих поступках, однако, он, как и всякий человек, проявляет свою личность в полном объеме. Он невольно выполняет целую часть работы по разъяснению и воспитанию, не называя и соответственно отчетливо не осознавая этого, подобно всем тем, кто принципиально не выделяет этой задачи в катарсисе.

Все живое представляет собой историю жизни. Даже холоднокровные еще продолжают *sous-entendu*<sup>5</sup> жить в нас. Также и три ступени аналитической психологии, о которых мы говорили, отнюдь не являются истинами, последняя из которых поглощает и подменяет собой две предыдущие; они являются принципиальными аспектами одной и той же проблемы, и они никоим образом не противоречат друг другу, так же как отпущение грехов не противоречит исповеди.

То же самое касается и четвертой ступени – *преобразования*. И она не должна претендовать на то, чтобы быть истиной в последней инстанции. Эта ступень восполняет пробел, остав-

---

<sup>5</sup> Подспудно (*франц.*). – *Примеч. ред.*

ленный предыдущими; она просто удовлетворяет еще одну потребность, которая распростерлась над прежними.

Чтобы сделать понятным, какова цель ступени преобразования и что вообще означает кажущееся, возможно, странным понятие «преобразование», мы должны сначала разобраться в том, какая потребность человеческой души не была воспринята предыдущими ступенями; иными словами, какие еще возможны требования, если не ограничиваться желанием быть нормально приспособленным существом? Быть нормальным человеком есть самое полезное и целесообразное, что можно придумать. Однако понятие «нормальный человек», как и понятие «адаптация», является ограниченным, предполагая нечто усредненное. Приспособление является желанной целью, например, для тех, кому тяжело дается умение ладить с миром или же кто из-за своего невроза не в состоянии вести нормальное существование. «Нормальный человек» – идеальная цель для неудачников, – для всех тех, кто находится ниже общего уровня приспособленности. Однако для людей, которые способны на большее, чем средний человек, для людей, которым совсем нетрудно добиться успеха, добиться более чем скромных достижений, для них идея или моральное принуждение ничем не отличаться от «нормальных» людей является, по сути, прокрустовым ложем, непереносимой смертельной скукой, бесплодным, безнадежным адом. Поэтому наряду с тем, что существует немало невротиков, которые заболевают потому, что они просто нормальные, есть и такие, которые, напротив, больны из-за невозможности стать нормальными. Мысль, которая могла бы прийти кому-нибудь в голову, – сделать первых нормальными – была бы воспринята этими людьми как дурной сон, ибо самая глубокая их потребность на самом деле состоит в том, чтобы вести ненормальную жизнь.

Человеку свойственно искать удовлетворения и исполнения желаний как в том, чего он еще не имеет, так, впрочем, и в том, что есть в избытке и чем он никак не может насытиться. Достижение социальной адаптации не является стимулом для людей, которым она дается с детской легкостью. Правильные поступки для того, кто неизменно ведет себя правильно, будут всегда скучны, в то время как для поступающего вечно неправильно дальней целью, тайным стремлением является научиться действовать правильно.

Потребности и нужды у разных людей разные. То, что для одних является освобождением, для других – тюрьма. То же самое относится к нормальности и приспособленности. Если положение из биологии гласит, что человек является стадным животным и достигает полного выздоровления только через реализацию своей социальной сущности, то последний случай переворачивает это положение вверх дном и доказывает нам, что человек полностью выздоравливает только тогда, когда живет ненормально и асоциально. Подобные выводы могут послужить поводом для разочарования в современной психологии в силу отсутствия у нее общих действенных рецептов или норм. Есть только индивидуальные случаи со всеми возможными потребностями и запросами, причем они настолько различны, что, в сущности, никогда нельзя знать заранее, в каком направлении будет развиваться каждый конкретный случай. Поэтому врач поступит наилучшим образом, если откажется от всякого предвзятого мнения. Но это не значит, что оно должно быть выброшено за борт; при случае его можно применить в качестве гипотезы для возможного объяснения. И не затем, чтобы поучать или убеждать, а скорее для того, чтобы показать больному, как врач реагирует на его особый случай. Ибо хотя это часто и пытаются обойти стороной, но отношения между врачом и пациентом представляют собой личные отношения внутри безличностных рамок врачебной работы. Можно только из лукавства не признавать того, что лечение является продуктом взаимного влияния, в котором принимает участие все существо пациента, равно как и врача. При лечении происходит встреча двух иррациональных данностей, а именно двух людей, которые не есть ограниченные, измеримые величины, но которые привносят с собой наряду с их потенциально определенным сознанием неопределимо распространенную сферу бессознательного. Поэтому для результата душевного лечения личность врача (так же, как и пациента) часто намного важнее, чем то, что врач гово-

рит и думает, хотя последним нельзя пренебрегать с точки зрения вредящего или целебного фактора. Встреча двух личностей напоминает смешение двух различных химических веществ: если они вообще вступают в соединение, то оба изменяются. В каждом случае лечебного воздействия на душу должно ожидать, что врач будет оказывать влияние на пациента. Однако здесь может иметь место и обратное влияние – в случае воздействия пациента на врача. Если врач защитится от влияния пациента и окутает себя клубами дыма отцовски-профессионального авторитета, это не принесет ему пользы. Этим он просто откажет себе в использовании в высшей степени важного органа познания. Ведь пациент бессознательно оказывает на врача влияние и вызывает в его бессознательном изменения; известные, наверное, многим психотерапевтам их собственные, воистину профессиональные изменения или даже повреждения души самым убедительным образом доказывают, так сказать, химическое воздействие пациента. Одно из самых известных явлений этого рода – вызванный переносом *контрперенос*. Но чаще воздействия имеют более тонкую природу, и их нельзя охарактеризовать иначе, как древней идеей перенесения болезни на здорового, который должен своим здоровьем одолеть демона болезни, что, однако, негативно сказывается на его собственном здоровье.

На отношения между врачом и пациентом воздействуют некоторые иррациональные факторы, вызывающие обоюдные *изменения* (преобразования). При этом решающее значение будет иметь стабильная сильная личность. Однако перед моими глазами прошло немало случаев, когда пациент вопреки всякой теории и профессиональным намерениям ассимилировал врача, порой даже нанося ему известный вред.

Степень преобразования основывается на этих фактах, ясному осознанию которых предшествовал охватывающий более чем четверть столетия практический опыт. Признавая эти факты, сам Фрейд поддержал мое требование к врачу – подвергнуть анализу самого себя.

Что означает это требование? Оно означает не что иное, как необходимость для врача «находиться под анализом» в той же мере, что и для пациента. Первый является такой же составной частью процесса душевного лечения, как и последний, и поэтому в той же степени подвержен преобразующим воздействиям. Если же врач оказывается недоступным такому воздействию, то он лишается также и возможности влиять на пациента, а поскольку в результате он оказывает влияние только бессознательно, то в поле его сознания образуется белое пятно, не позволяющее ему правильно видеть пациента. В подобных случаях успешность лечения оказывается под сомнением.

Стало быть, врач обременен той же задачей, которой он хотел бы обременить пациента, а именно быть, например, социально приспособленным существом или, в другом случае, правильно неприспособленным. Терапевтическое требование может, конечно, принимать форму тысячи различных, в зависимости от установок врача, предписаний. Один верит в преодоление инфантилизма, следовательно, он должен преодолеть собственный инфантилизм. Другой верит в отреагирование всех аффектов, следовательно, у него самого должны быть отреагированы все его аффекты. Третий верит в полную сознательность, следовательно, он должен достичь собственной сознательности или по крайней мере постоянно стремиться к тому, чтобы выполнять свое терапевтическое требование, если он хочет быть уверенным в правильном влиянии на своих пациентов. Все эти основные терапевтические идеи в значительной степени являются этическими требованиями, которые все вместе достигают высшей точки в истине: «Ты сам должен быть таким, каким хочешь сделать другого». Данное общеизвестное выражение издавна считалось пустым, так как не было еще такого ловкого приема, который мог бы надолго опереться на эту простую истину. Не *отчего* убеждаются, а *что* убеждаются – вот что было основным вопросом во все времена.

Четвертая ступень аналитической психологии требует *обратного применения соответствующей выбранной системы к самому врачу*, причем это должно делаться с такой же бес-

пощадностью, последовательностью и терпением, с какими врач действует по отношению к пациенту.

Если подумать, с каким вниманием и критикой должен врачеватель души следовать за своим пациентом, чтобы вскрыть его ложные пути и ошибочные выводы, его инфантильные тайны, то сделать то же самое для себя будет для него поистине немалым достижением. Однако в большинстве случаев это для нас самих мало интересно, да и оценить-то некому эти наши интроспективные старания. К тому же пренебрежение человеческой душой повсюду еще настолько велико, что самонаблюдение и занятость самим собой считаются чуть ли не болезненными явлениями. Видимо, кое-кто не чувствует здоровья в собственной душе, отчего уже одно только проявление интереса к ней пахнет больничной палатой. Эти противоречия врач должен преодолеть в себе самом, ибо как же он может воспитывать другого, если не воспитан сам, как разъяснять, если он сам для себя покрыт мраком, и как очищать, если все еще не чист он сам?

Шаг от воспитания к *самовоспитанию* есть логичный шаг вперед, который дополняет все предыдущие ступени. Требование ступени преобразования, то есть чтобы изменился сам врач, тем самым становясь способным изменить также и больного, является, как легко понять, весьма непопулярным из-за того, что, во-первых, оно кажется непрактичным, во-вторых, занятие самим собой сопряжено с неприятным предрассудком и, в-третьих, подчас весьма болезненно открывать в самом себе все то, что ожидалось в данном случае обнаружить в своем пациенте. Последний пункт в особенности способствует непопулярности этого требования, потому что тот, кто захочет воспитывать и лечить самого себя, вскоре обнаружит, что его существо обладает некоторыми особенностями, препятствующими нормализации. Что он будет делать с этими особенностями? Хотя он всегда знает – к этому его обязывает профессия, – что должен с ними делать пациент. Но все же, что он сам будет делать с этим, особенно если он сам в этом глубоко убежден и сам к этому пришел? Или, возможно, в этом убедились самые близкие ему люди? В таком самоисследовании он может открыть в себе неполноценность, которая грозит приравнять его к пациенту и, возможно, подорвать его авторитет. Как он будет обходиться с этой неприятной находкой? Этот в известной степени «невротический вопрос» будет затрагивать его самым глубоким образом, каким бы нормальным он сам себе ни казался. Он также откроет, что вопросы, которые тяготят его так же, как и его пациентов, не могут быть решены без лечения, что решение посредством других является детским и что если решение не может быть найдено, то вопрос снова окажется вытесненным.

Я не хочу далее углубляться в проблемы, возникающие благодаря процессу самоанализа, поскольку их масштаб несоизмерим с огромной неизведанностью души.

И наоборот, я бы с большей охотой подчеркнул, что последние достижения аналитической психологии подводят нас к важному вопросу об иррациональных факторах человеческой личности и выдвигают на передний план личность врача в качестве лечебного фактора или его противоположности. Тем самым, в свою очередь, выдвигается требование изменения самого врача, то есть *самовоспитание воспитателя*. Отныне все то, что объективно присутствовало в истории нашей психологии – признание, разъяснение и воспитание, – поднимается на ступень субъекта, другими словами, все, что делалось с пациентами, должно делаться и с врачом, чтобы его личность не оказала отрицательного влияния на пациентов. Врачу непозволительно пытаться закрывать глаза на свои собственные трудности, ссылаясь на то, что он лечит трудности других, в то время как у него самого якобы этих проблем не существует.

Подобно тому как ранее фрейдовской школе в связи со своим далеко идущим открытием неожиданно пришлось ввязаться в полемику даже по религиозно-психологическим вопросам, так и новейший поворот ведет к тому, что этическая установка врача становится проблемой, обойти которую невозможно. Неразрывно связанные с этим вопросом самокритика и самоанализ сделают необходимым возникновение совершенно иного мнения о душе по сравнению с прежним, чисто биологическим. Ведь душа человека, безусловно, не только объект есте-

ственно-научно ориентированной медицины, она не только больной, но и врач, не только объект, но также и субъект, не только некоторая функция мозга, но и абсолютное условие нашей сознательности.

То, что ранее было медицинским методом лечения, здесь становится методом самовоспитания, и тем самым горизонт нашей психологии неожиданно расширяется до непредвиденных пределов. Решающее значение имеет теперь не диплом врача, а человеческие качества. Такой поворот крайне важен, потому что он предоставляет средства для искусства врачевания души, которое развилось, утончилось и систематизировалось в постоянном упражнении с больными и которое стало на службу самовоспитания и самосовершенствования. Этим аналитическая психология разрывает оковы, державшие ее прежде в консультационной комнате врача. Она перешагивает через саму себя и восполняет те огромные пробелы, которые прежде свидетельствовали об ущербности западноевропейских культур по сравнению с восточными. Мы знали только подчинение и усмирение души, но не методическое развитие ее самой и ее функций. Ведь наша культура еще молода, а молодые культуры требуют всего искусства укрощения, чтобы хоть в какой-то степени упорядочить все то дикое и варварское, которое не намерено уступать свои позиции без боя. Однако на более высоком уровне культуры развитие должно заменить и заменить принуждение. Для этого нужен путь, метод, который у нас, как уже было сказано, до сих пор отсутствовал. Мне кажется, что познания и опыт аналитической психологии могли бы по меньшей мере служить основой для этого, поскольку там, где врачебная психология изначально берет в качестве предмета исследования самого врача, она мгновенно перестает быть простым методом лечения больного. Она теперь имеет дело со здоровыми или по крайней мере с теми, кто предъявляет претензии на душевное здоровье, а также с теми, у кого есть недуг, который их мучает. Поэтому такая психология претендует на то, чтобы стать общим достоянием в еще большей степени, чем предыдущие ступени, каждая из которых сама по себе уже является носителем некоторой общей истины. Однако между этим притязанием и сегодняшней действительностью все еще лежит пропасть, через которую не ведет мост. Он должен строиться камень за камнем.

## Об отношении аналитической психологии к произведениям художественной литературы<sup>6</sup>

Задача говорить об отношении аналитической психологии к произведениям художественной литературы представляется мне, несмотря на трудность, желанным случаем прояснить свою точку зрения в вызывающем столь много споров вопросе об отношении психологии и искусства. Без сомнения, обе области, несмотря на их несравнимость, находятся в ближайших отношениях друг с другом, в отношениях, непосредственно взывающих к исследованию. Эти отношения основываются на том факте, что конкретное занятие искусством является психологической деятельностью, и, поскольку оно является таковой, оно может и должно быть подвергнуто психологическому рассмотрению, потому что под этим углом зрения оно, как и любая вытекающая из психических мотивов человеческая деятельность, является объектом психологии. Это положение, однако, очень четко определяет рамки приложения психологической точки зрения к искусству: *предметом психологии может быть только та часть искусства, которая представляет собою процесс художественного созидания, в противоположность другой, составляющей собственно сущность искусства. Эта вторая часть, то есть та, что стоит за вопросом, чем является искусство как таковое, – предмет исключительно эстетики – художественного рассмотрения, но отнюдь не психологического.*

Подобное же различие мы должны провести и в области религии: равным образом психологическое рассмотрение возможно там лишь в отношении эмоциональных и символических феноменов религии, однако сущность религии им не затрагивается и не может быть затронута. Если бы последнее было возможно, то не только религия, но и искусство могли бы рассматриваться как подраздел психологии. Этим, конечно, не отрицается тот факт, что подобное нарушение границ фактически имеет место. Однако тот, кто это совершает, очевидно, забывает, что то же самое может случиться и с самой психологией. При желании ее также можно рассматривать просто как деятельность мозга, представляющую наряду с деятельностью других желез лишь подраздел физиологии, и тем самым полностью обесценить ее специфическую ценность и истинную сущность. И это, как известно, случилось.

Искусство по своей сущности не есть наука, и наука по своей сущности не есть искусство; поэтому обе данные области человеческого духа имеют свою автономию, проявления которой свойственны только им и которые могут быть объяснены только из нее самой. Следовательно, если мы теперь говорим об отношении психологии к искусству, то трактуем только ту часть искусства, которая вообще может быть подвержена психологическому рассмотрению без вторжения в чужую область. Вопросы из сферы искусства, разрешимые для психологии, ограничиваются психическим процессом художественной деятельности и никогда не будут касаться внутренней сущности самого искусства. Это невозможно для психологии точно так же, как для интеллекта невозможно представить и тем более понять сущность чувства. Две эти сферы не существовали бы вообще как отдельные сущности, если бы уже давно не напрашивалось понимание их принципиального различия. Тот факт, что у ребенка «спор факультетов» еще не разразился, а художественные, научные и религиозные возможности пока спокойно дремлют рядом друг с другом, или другой факт, что у первобытных народов зачатки искусства, науки и религии еще нераздельно покоятся в хаосе магического мировоззрения, или, наконец, третий факт, что у животных не заметны признаки «духа» вообще, а существует просто «природный инстинкт», – все эти факты ничего не говорят о принципиальном единстве сущности

---

<sup>6</sup> Доклад, прочитанный в Обществе по изучению немецкого языка и литературы в Цюрихе, май 1922 г. Опубликовано в: Wissen and Leben XV (Zürich, September 1922) [Ges. Werke XV]. – *Примеч. ред.*

науки и искусства, которое могло бы оправдать сведение одного к другому. Если мы возвращаемся к тому давнему уровню духовного развития человечества, когда перестают быть видимы принципиальные различия отдельных областей духа, то мы приходим не к познанию глубокого принципа их единства, а лишь к прежнему состоянию недифференцированности, характерному для той ступени процесса исторического развития, на которой не существовало ни того, ни другого. Из этого элементарного состояния нельзя, однако, вывести принципа, на основании которого мы можем сделать вывод о сущности более поздних и более развитых состояний, даже если последние, как это всегда бывает, непосредственно из него (элементарного состояния) вытекают. Научная точка зрения будет, конечно, всегда иметь склонность не замечать сущности дифференцирования в угоду каузализму и стремиться к тому, чтобы подчинить это дифференцирование более общему, пусть и чересчур элементарному, понятию.

Эти соображения представляются теперь особенно уместными, поскольку мы не раз сталкивались с такими способами толкования произведений художественной литературы, которые напоминают элементарность докультурного человечества. Можно, конечно, свести условия художественного творчества, его сюжет и индивидуальную трактовку, например, к личным отношениям между поэтом и его родителями. Однако от этого наше понимание его искусства не станет более глубоким. Подобное редуцирование можно производить и во многих других случаях, в особенности при болезненных расстройствах психики. Неврозы и психозы столь же легко можно свести к взаимоотношениям ребенка со своими родителями, как и убеждения, хорошие и дурные привычки, особенности характера, страсти, особые интересы и т. д. Но нельзя, наверное, согласиться с тем, чтобы все эти весьма разнообразные вещи имели, так сказать, одно и то же объяснение. Иначе пришлось бы заключить, что все они являются одним и тем же. Следовательно, если какое-нибудь произведение искусства объясняется точно так же, как и невроз, то тогда либо произведение искусства является неврозом, либо невроз – произведением искусства. В этом утверждении можно видеть парадоксальную игру слов и допустить его как *façon de parler*<sup>7</sup>, но ставить на одну доску невроз и произведение искусства противно здравому человеческому смыслу. В крайнем случае врач, занимающийся психоанализом, может взглянуть на невроз через призму профессионального предрассудка, как на своего рода произведение искусства, но здравомыслящему неспециалисту никогда не придет на ум смешивать болезненные явления с искусством, хотя и он также не будет отрицать того факта, что при создании художественного произведения имеют место те же предварительные психологические условия, как и при возникновении невроза. И это естественно, поскольку повсюду существуют определенные сходные психологические предусловия, то есть относительное равенство условий человеческой жизни – всегда одних и тех же, идет ли речь о неврозе ученого, поэта или обычного человека. У всех были родители, у всех есть так называемый отцовский или материнский комплекс, у всех имеется сексуальность, а потому все испытывают и известные, типичные для всех людей, трудности. Если на этого поэта оказывает большее влияние отношение к отцу, на другого – его привязанность к матери и, наконец, третий обнаруживает в своих произведениях несомненные следы сексуального вытеснения, то все это можно также сказать и о невротиках, более того, о всех нормальных людях. Следовательно, для оценки произведения искусства это не дает ничего специфического. В лучшем случае этим расширяется и углубляется знание исторических предпосылок.

И в самом деле, открытое Фрейдом направление медицинской психологии для историка литературы послужило новым толчком к установлению связи определенных своеобразий художественного произведения с личными, интимными переживаниями писателя. Но научное исследование произведений художественной литературы уже давно обнаруживает те нити, которыми личное, интимное переживание писателя вплетено – осознанно или нет – в его про-

<sup>7</sup> Способ выражения (*франц.*). – *Примеч. ред.*

изведение. Во всяком случае, работа Фрейда позволяет более глубоко и исчерпывающе изучить влияние даже самых ранних детских переживаний на художественное творчество. Примененный с известным чувством меры, метод Фрейда часто позволяет получить завораживающую картину того, как произведение искусства, с одной стороны, вплетено в личную жизнь художника, а с другой – из этого сплетения вновь выделяется. В этом отношении так называемый *психоанализ художественного произведения* в принципе ничем не отличается от вглубь идущего и искусно нюансированного литературно-психологического анализа. Самое большое здесь – это различие в степени, причем психоаналитическое исследование подчас поражает нескромными выводами и намеками, которые при более деликатном подходе не упоминаются просто из чувства такта. Эта беззастенчивость перед «человеческим, слишком человеческим» является профессиональной особенностью медицинской психологии, которая, как верно отметил еще Мефистофель, охотно «не за страх... хозяйничает без стыда», где «жаждет кто-нибудь года», к сожалению, однако, не всегда с пользой для себя. Возможность сделать смелые выводы представляет соблазн и легко приводит к насилию над истиной. Немного скандальной хроники – часто соль биографии, но чуть больше этой соли – и биография превращается в продукт нечистоплотной проницательности, что влечет за собой эстетическую катастрофу. И все это совершается под маской науки. При этом интерес незаметно отворачивается от художественного произведения и блуждает в лабиринте психических предпосылок, а художник становится клиническим случаем, иногда очередным примером *psychopatia sexualis*. Однако из-за этого и психоанализ художественного произведения также отдаляется от своего объекта, а дискуссия переносится в иную, общечеловеческую область, не имеющую ничего специфического для художника, а главное, абсолютно не существенную для его искусства.

Этот род анализа уводит *от* художественного произведения в сферу общечеловеческой психологии, из которой наряду с художественными произведениями может возникнуть вообще все, что угодно. А потому толкование, исходный пункт которого лежит в этой сфере, сводится к плоской сентенции: «Всякий художник – Нарцисс». Но ведь каждый, кто до последней возможности проводит свою линию, является «Нарциссом», если только вообще допустимо употреблять такой специальный невропатологический термин в столь широком смысле. Поэтому подобное заявление вообще ни о чем не говорит, а просто шокирует как «*bon mot*»<sup>8</sup>. Такого рода анализ вовсе не занимается художественным произведением, а стремится лишь к тому, чтобы, насколько это возможно, зарыться, подобно кроту, в подпочвенную глубину и остаться там; но докапывается он всегда до той же самой общей земли, которая носит на себе все человечество. Вот почему толкования такого анализа так потрясающе монотонны; подобное всегда можно услышать во время приема у врача-психоаналитика.

Редуктивный метод Фрейда представляет собой лишь медицинский метод лечения, объектом которого является привнесенное болезненное образование. Это болезненное образование препятствует нормальной работе и поэтому должно быть разрушено; тем самым освобождается путь для нормального приспособления. В этом случае сведение к общечеловеческим основам вполне уместно. В применении же к художественному произведению этот метод ведет к только что описанным результатам: он вылуцывает из сверкающей скорлупы художественного произведения одну только голую повседневность обыкновенного *homo sapiens*, к виду которого причисляется, конечно, и художник. Золотой блеск высшего творчества, о котором собирались говорить, меркнет, как только его начинают подвергать прижиганию и вытравливанию согласно методу удаления обманчивой фантастики в случае истерии. Подобное анатомирование, конечно, весьма интересно и, возможно, представляет в такой же степени научную ценность, как и вскрытие мозга Ницше, которое могло бы нам показать, от какой атипичной формы паралича он умер. Но разве это имеет что-либо общее с «Заратустрой»? Каковы бы ни

<sup>8</sup> Красное словцо (*франц.*). – *Примеч. ред.*

были тут отдаленные и глубинные мотивы, разве он не представляет собой цельный и единый мир, стоящий по ту сторону «человеческого, слишком человеческого» несовершенства, по ту сторону мигрени и атрофии клеток мозга?

До сих пор я говорил о редуктивном методе Фрейда, не вдаваясь в его детали. Речь идет о медико-психологической технике психического обследования больного, призванной заниматься исключительно поисками путей и средств, посредством которых можно было бы обойти или разгадать сознательный передний план, чтобы достичь плана заднего, психического – так называемого бессознательного. Эта техника основывается на предположении, что нервно больной человек вытесняет определенные психические содержания из сознания вследствие их несовместимости с последним. Эта несовместимость понимается как моральная; следовательно, вытесненные содержания должны иметь соответственно негативный характер, а именно инфантильно-сексуальный, непристойный, даже преступный, который представляется сознанию как неприемлемый. Поскольку идеальных людей не существует, то у каждого имеется такой задний план независимо от того, признает он его существование или нет. Поэтому его можно обнаружить везде, если только применить выработанную Фрейдом технику толкования.

В рамках ограниченного временем доклада мне, естественно, невозможно вдаваться в частности техники толкования. Поэтому я вынужден довольствоваться лишь несколькими пояснениями. Бессознательные задние планы не остаются пассивными, а обнаруживаются в характерном влиянии на содержание сознания. Они порождают, например, продукты фантазии своеобразного свойства, которые иногда можно легко свести к определенным сексуальным представлениям, связанным с глубинными пластами бессознательного. Или же они вызывают известные характерные нарушения течения сознательных процессов, которые также сводимы к вытесненным содержаниям. Весьма важным ключом к изучению бессознательных содержаний являются сновидения – прямые продукты деятельности бессознательного. Суть редуктивного метода Фрейда заключается в том, что сначала собираются все косвенные улики бессознательных глубин, а затем, в результате их анализа и толкования, восстанавливаются элементарные процессы неосознанных влечений. Те содержания сознания, которые позволяют догадываться об отдаленном плане бессознательного, Фрейд называет *символами* и ошибается, ибо в его учении они играют роль *знаков* или *симптомов* процессов заднего плана души, а отнюдь не истинных символов, под которыми следует понимать выражение для такого воззрения, которое до сих пор не могло быть выражено иначе или лучше. Когда, например, Платон выражает всю гносеологическую проблему образом пещеры или когда Христос понятие Царства Божьего выражает в своих притчах – все это является истинными и подлинными символами, а именно попытками выразить такие представления, для которых еще не существует словесных понятий. Если бы мы стали толковать сравнение Платона по Фрейду, то естественно пришли бы к материнскому чреву и доказали бы этим, что дух Платона застрял в глубоко первобытном, более того, в инфантильно-сексуальном. Однако при этом мы совершенно упустили бы из виду то, что Платон творческим актом создал из примитивных предусловий своего философского воззрения. Не обратив внимания на самое существенное, мы прошли бы мимо него и просто открыли бы, что у Платона были инфантильно-сексуальные фантазии, как и у всех остальных обыкновенных смертных. Подобная констатация имела бы ценность только для того, кто считал Платона надчеловеческим существом, а теперь с удовольствием обнаружил бы, что *сам* Платон был человеком. Но кто же, однако, мог бы принять Платона за божество? Наверное, только тот, кто находится в плену инфантильных фантазий, то есть человек с невротическим образом мыслей. Для подобной психики сведение к общим для всех людей истинам было бы, конечно, полезно, но лишь по медицинским соображениям. Со смыслом же платоновского инносказательного образа это не имеет ничего общего.

Я намеренно несколько дольше остановился на отношении врачебного психоанализа к художественному произведению, а именно потому, что этот род анализа является в то же время

и фрейдовской доктриной. Из-за упрямого догматизма Фрейда обе эти, в сущности, весьма различные вещи публикой считаются идентичными. Подобную технику можно с успехом применять в определенных медицинских случаях, однако не возводя ее при этом в доктрину. Да и против самой доктрины следует выдвинуть решительные возражения. Она основана на произвольных предположениях. Неврозы, например, совершенно не обязательно имеют причиной исключительно сексуальное вытеснение, равно как и психозы. Сновидения отнюдь не содержат только несовместимые, вытесненные желания, которые благодаря гипотетической цензуре не проявляются в явном виде. Фрейдовская техника толкования, поскольку она находится под влиянием его односторонних, а потому и ложных гипотез, является явным произволом.

Чтобы разобраться в художественном произведении, аналитическая психология должна полностью отбросить медицинский предрассудок, потому что художественное произведение не есть болезнь и оно требует совершенно иной ориентации, нежели врачебная. Если врач естественным образом должен исследовать причины болезни, чтобы по возможности ее искоренить, то психолог столь же естественно должен принять по отношению к художественному произведению соответствующую установку. Он не будет затрагивать лишних для художественного произведения вопросов относительно несомненно предшествовавших ему общих для всех людей условий, но задастся вопросом о смысле произведения, а предварительные условия будут его интересовать лишь в той мере, в какой они могут способствовать пониманию искомого смысла. Причинная обусловленность личной жизни имеет такое же отношение к художественному произведению, как почва к растению, которое из нее произрастает. Разумеется, мы лучше научимся понимать некоторые особенности растения, если узнаем свойства почвы. Для ботаника это является даже важным компонентом его познания. Но никто не станет утверждать, что этим может быть постигнуто все существенное в растении. Установка на личностное, возникающая благодаря вопросу о личностной обусловленности творческого процесса, неприменима к художественному произведению как таковому, потому что искусство представляет собой надличностное явление. Это такая вещь, которая не имеет личности, и, следовательно, личностное не является для нее критерием. Более того – особый смысл подлинного произведения искусства и заключается в том, что ему удастся освободиться от узости и тупиков личного, оставив далеко за собой все преходящее и удушливое из сферы узколичных переживаний.

Я должен признаться, исходя из собственного опыта, что для врача весьма сложно отказаться от рассмотрения художественного произведения не через призму профессиональной принадлежности и тем самым уклониться в своих воззрениях от привычного биологического детерминизма. Мне пришлось убедиться, что психология, ориентированная чисто биологически, пусть даже в некоторой степени и исправленная, хотя и приложима в известной мере к человеку как таковому, но совершенно неприменима ни к художественному произведению, ни, следовательно, к человеку как к творцу. Чисто каузалистическая психология не может поступать иначе, как сводить каждого человеческого индивидуума к особи вида *homo sapiens*, потому что для нее существует только происшедшее и производное. Художественное произведение, однако, не есть лишь происшедшее и производное, оно есть творческое преобразование как раз тех самых условий, из которых каузалистическая психология хотела его с необходимостью вывести. Растение не является просто продуктом почвы, оно – самодовлеющий, живой творческий процесс, сущность которого не имеет ничего общего со свойством почвы. Художественное произведение должно рассматриваться как творческое образование, свободно пользующееся всеми предварительными условиями. Его смысл и свойственные ему особенности покоятся в нем самом, а не в его внешних предусловиях; это можно было бы выразить примерно так: оно является неким существом, пользующимся человеком и его личными диспозициями лишь как питательной средой, распоряжающимся его силами по собственным законам и создающим из себя то, что оно хочет из себя создать.

Однако я забегаю вперед, предвосхищая особого рода художественные произведения, о которых мне еще придется говорить. Ибо не каждое художественное произведение можно рассматривать в таком аспекте. Существуют произведения как в стихах, так и в прозе, которые написаны автором по заранее намеченному плану и с определенной целью достигнуть того или иного впечатления. В таких случаях автор подвергает свой материал определенно направленной, намеренной обработке, включая что-либо или выбрасывая, подчеркивая этот эффект, смягчая тот, нанося такие-то краски туда, а другие сюда, тщательно взвешивая возможные воздействия и принимая во внимание законы красивых форм и стиля. При этом автор вполне определенно высказывает свои суждения и с полной свободой выбирает выражения. Материал является для него не более чем материалом, подчиненным его художественному намерению: он хочет изобразить *это*, и ничто другое. При такой работе писатель просто тождествен творческому процессу, безразлично, поставил ли он себя добровольно во главу творческого движения, или же это последнее захватило его и использует в качестве орудия с такой полнотой, что всякое осознание этого факта для него исчезло. Он есть само творческое образование и находится всецело в нем и неотделим от него со всеми своими замыслами и умениями. Наверное, мне не нужно для этого обращаться к примерам из истории литературы и к собственным признаниям писателей.

Без сомнения, я не скажу ничего нового, если буду говорить о художественных произведениях другого рода, уже в более или менее завершенном виде вызывающих к перу автора и появляющихся на свет вполне вооруженными, как Афина Паллада из головы Зевса. Эти произведения прямо-таки навязываются автору, его рука схвачена, а перо пишет такие вещи, которые дух обнаруживает с удивлением. Произведение само приносит свою форму. При этом то, что автору хочется вложить от себя, отклоняется, а то, чего он принять не хочет, ему навязывается. В то время как его сознание растерянно и опустошенно стоит перед этим феноменом, он захлестывается потоком мыслей и образов, которые его намерение никогда не создавало, а воля никогда не желала породить. Вопреки своей воле он все-таки вынужден признать, что через них заявляет о себе его «Я», что его внутренняя природа раскрывает саму себя и громко возвещает о том, чего никогда раньше не доверяла языку. Он может лишь подчиниться и следовать якобы чуждому импульсу, чувствуя, что его произведение более великое, чем он сам, и поэтому имеет над ним власть, которой он ничего не может противопоставить. Он не тождествен творческому процессу; он сознает, что стоит ниже своего произведения или в крайнем случае рядом с ним – подобно постороннему лицу, очутившемуся в заколдованном круге чужой воли.

Когда мы говорим о психологии художественного произведения, то должны учитывать помимо прочих вещей эти две совершенно различные возможности возникновения произведения, потому что многое, имеющее значение для психологической оценки, зависит от этого различия. Такая противоположность уже была отмечена Шиллером. Он пытался, как известно, подвести ее под понятия *сентиментального* и *наивного*. Выбор им такой терминологии вытекает, вероятно, из того факта, что он рассматривал главным образом поэтическое творчество. Первый род творчества, в свете психологических представлений, мы обозначим как *интровертированный*, а второй как *экстравертированный*. Интровертированная установка характеризуется утверждением субъекта и его сознательных намерений и целей по отношению к требованиям объекта. Экстравертированная установка, напротив, характеризуется подчинением субъекта требованиям объекта. Драмы Шиллера, так же как и большинство его стихотворений, являются, на мой взгляд, хорошим примером понятия интровертированной установки. Материал здесь подчинен замыслам автора. Прекрасную иллюстрацию противоположной установки представляет вторая часть «Фауста», отличающаяся, напротив, упорным сопротивлением материала. Еще одним наглядным примером может служить «Заратустра» Ницше, где автор сам высказал, что «одно стало двумя».

Из моего способа изложения, наверное, уже почувствовалось, что произошел сдвиг психологической точки зрения, когда я начал говорить не о писателе как о личности, а о творческом процессе. Акцент интереса переносится в данном случае на творческий процесс, в то время как писатель рассматривается, до определенной степени, как реагирующий объект. Там, где сознание автора не тождественно творческому процессу, это понятно само собой. В первом же случае, о котором шла речь, сначала кажется, что имеет место противоположное: сам автор, по-видимому, является творцом и создает свое произведение по доброй воле и без малейшего принуждения. Он может быть и сам вполне убежден в своей полной свободе и не согласится признать, что его произведение не было одновременно и его волей и что своим происхождением оно не обязано исключительно ей и его собственным способностям.

И тут мы сталкиваемся с вопросом, на который, исходя из того, что говорят нам писатели об истоках своего творчества, мы, наверное, не можем ответить; ибо здесь мы имеем дело с проблемой, разрешить которую может только психология. Может случиться, как я на это уже отчасти указывал, что даже тот писатель, который, по-видимому, творит сознательно и свободно из самого себя, творит и создает то, что он хочет, будет, несмотря на свою сознательность, до такой степени захвачен творческим импульсом, что вообще не окажется в состоянии вспомнить иного направления своей воли, то есть совершенно так же, как и писатель другого типа, который не в состоянии непосредственно чувствовать собственную волю в якобы чуждом вдохновении, несмотря на то что в этом вдохновении к нему обращается с явственной речью его Самость. Если это так, то убежденность первого в безусловной свободе своего творчества есть иллюзия его сознания: он уверен, что плывет по своей воле, между тем как его несет вперед невидимое течение.

Это сомнение отнюдь не лишено оснований; оно вполне соответствует опыту аналитической психологии, исследования которой в области бессознательного открыли массу возможностей того, как бессознательное не только оказывает влияние на сознание, но даже может вести его за собой. Этим сомнение оправдывается. И все же где доказательства того, что и сознательно творящий писатель может быть взят в плен своим произведением? Доказательства этому могут быть прямые и косвенные. Прямыми доказательствами служат те случаи, когда писатель в своем произведении зачастую говорит больше, чем сам это замечает. И такие случаи не так уж редки. Косвенными доказательствами этого могут служить факты проявления высшей повелевающей силы за кажущейся свободой творчества; эта сила немедленно заявляет о своих требованиях и возражениях в случае произвольного отказа автора от творческой деятельности. То же самое происходит и в тех случаях, когда творческий процесс прерывается невольно, вызывая тяжелые психические осложнения.

Анализ практики художественного творчества снова и снова показывает, насколько сильна проистекающая из бессознательного потребность в созидании и в то же время насколько она капризна и своевольна. Биографии многих великих художников служат доказательством столь сильного их влечения к творчеству, что в результате все личное захватывалось им и ставилось на службу данному произведению, даже в ущерб здоровью и простому человеческому счастью! Нерожденное произведение в душе художника есть сила природы; оно проводит свою линию либо тиранически властно, либо с той тонкой хитростью, которой природа всегда пользуется для осуществления своих целей, нисколько не заботясь о личном благе или вреде для человека, являющегося носителем творческого начала. Творческое начало живет и растет в человеке, черпая в нем свою энергию, подобно дереву, извлекающему пищу из почвы. Мы поступим правильно, если приравняем творческий процесс к живому существу, посаженному в душу человека, словно растение в почву. Аналитическая психология называет это *автономным комплексом*, который представляет собой как бы изолированную часть души, ведущую самостоятельную жизнь, не подчиненную иерархии сознания. Соответственно своей энергетической ценности, своей силе он является либо только препятствием в произвольно направлен-

ном процессе сознания, либо высшей инстанцией, которая может заставить служить себе даже само «Я». Поэтому тот писатель, который отождествляется с творческим процессом, является человеком, сказавшим «да» еще до того, как ему грозило бессознательное повеление: «Ты должен». Другой же, по отношению к которому творческое начало выступает чуть ли не как иная сила, по какой-то причине не может своевременно сказать этому началу «да»; поэтому повеление «ты должен» застаёт его врасплох. Следовало бы ожидать, что разнородность возникновения произведения скажется также и на нем самом. Ведь в одном случае речь идет о намеренном, сопровождающемся сознанием и направленном продукте, который создается обдуманно для достижения намеченной формы и желаемого воздействия. В другом же случае мы имеем дело с явлением, порождаемым бессознательной природой; тогда художественное произведение создается помимо участия человеческого сознания, а иногда и наперекор ему, самовольно добываясь своей формы и своего характера воздействия. В первом случае следует ожидать, что произведение нигде не перейдет границ сознательного понимания, что оно создается, в известной степени, в рамках намерения и никоим образом не говорит больше, чем было положено автором. В другом же случае следовало бы приготовиться к чему-то надличному, которое настолько же превосходит радиус действия сознательного понимания, насколько сознание автора отделилось от развития своего произведения. В подобном произведении можно ожидать появления необычных и странных образов и форм, мыслей, о значении которых можно только догадываться, насыщенного значениями языка, выражения которого имеют ценность настоящих символов, ибо они наилучшим образом выражают нечто еще неизвестное и представляют собой мосты, перекинутые к невидимому берегу.

Эти критерии в целом подтверждаются. Там, где речь идет о действительно намеренной работе над сознательно выбранным материалом, всегда дают о себе знать только что перечисленные особенности. Равным образом обстоит дело и в обратном случае. Уже знакомый нам пример драм Шиллера, с одной стороны, а с другой стороны, вторая часть «Фауста», или еще лучше «Заратустра», могут служить иллюстрациями к сказанному. Однако я бы не взял на себя смелость отнести сразу произведение неизвестного мне автора к тому или иному разряду, не произведя предварительно тщательного исследования личного отношения писателя к своему произведению. Недостаточно даже знать, принадлежит ли данный писатель к интровертированному или экстравертированному типу как человек, потому что оба типа имеют возможность писать, пребывая то в интровертированной, то в экстравертированной установке. У Шиллера это представлено особенно отчетливо в различии между поэтическим и философским творчеством, у Гёте – в различии между многими его законченными по форме поэтическими произведениями и второй частью «Фауста» с ее борьбой за оформление содержания. У Ницше это различия между его афоризмами и сплошным потоком «Заратустры». Один и тот же писатель может исходить в различных произведениях из различных же установок; какой масштаб здесь приложим – зависит от каждого конкретного случая.

Вопрос этот, как видно из изложенного, бесконечно сложен. Но сложность его возрастет еще больше, если мы приступим к нашим наблюдениям, приняв во внимание приведенное выше рассуждение о тождественности автора творческому процессу. Если допустить, что преднамеренность и сознательность творчества оказываются всего лишь иллюзиями писателя, то его произведение может обладать символическими, неопределимыми и превышающими современное ему сознание качествами. Они оказались бы лишь сильно завуалированными, потому что и читатель тоже ведь не переступил еще границ, которые были определены сознанию автора духом времени. Ибо и читатель пребывает внутри границ современного ему сознания и не имеет никакой возможности обладать архимедовой точкой опоры за пределами своего мира, с помощью которой он сумел бы «снять с петель» свое современное сознание, другими словами – усмотреть символ в такого рода произведении. Символ же означает возможность и намек, имеющие смысл более широкий и высокий, чем это доступно нашему нынешнему пониманию.

Как уже было сказано, вопрос этот весьма тонок. Я его поднимаю только для того, чтобы не ограничивать своею типологической классификацией возможное значение художественного произведения даже тогда, когда, по-видимому, само оно не может ни высказывать, ни быть чем-либо иным, кроме того, чем оно является и что говорит на самом деле. Однако уже не раз бывало так, что неожиданно для себя мы заново открывали прежде известного нам писателя. Происходило это тогда, когда развитие нашего сознания взбиралось на более высокую ступень и с ее высоты обнаруживалось, что старый писатель говорит нам нечто новое. Это новое уже присутствовало в его произведении, но являлось скрытым символом, прочесть который дано нам только теперь благодаря обновлению духа времени. Нужны были другие, новые глаза, потому что старые могли в нем видеть только то, что они привыкли видеть. Подобный опыт должен, конечно, настроить нас на осторожность, так как он подтверждает воззрение, изложенное мною ранее. Символическое же произведение в такой тонкости не нуждается, оно возвещает нам своим языком: «Я имею намерение сказать больше, чем говорю на самом деле; я имею в виду нечто такое, что больше меня самого». Здесь мы можем предполагать символ, даже если нам не удастся найти удовлетворительную отгадку. Символ остается постоянным укором нашему мышлению и нашему чувству. На этом покоится, вероятно, и тот факт, что символическое произведение больше нас возбуждает, так сказать, глубже в нас вбуравливается, а поэтому редко позволяет получить чисто эстетическое наслаждение, тогда как произведение не явно символическое гораздо более четко обращается к эстетическому ощущению, потому что оно дает нам возможность созерцать гармонию завершенности.

Однако следует спросить, какой вклад может внести аналитическая психология в разрешение основной проблемы художественного творчества, в раскрытие тайны творческого начала. Ведь все, о чем мы до сих пор говорили, – не больше как психологическая феноменология. Но поскольку «в тайники природы не проникает ни один сотворенный дух», не будем также и мы ожидать от нашей психологии невозможного, а именно удовлетворительного объяснения великой тайны жизни, которую мы непосредственно ощущаем в творчестве. Как и всякая наука, психология готова внести лишь скромный вклад в дело лучшего и более глубокого познания жизненных явлений, но она столь же отдалена от абсолютного знания, как и ее родные сестры – другие науки.

Мы так много говорили о *смысле и значении произведения искусства*, что невольно возникает принципиальный вопрос: а действительно ли искусство имеет «значение»? Может быть, искусство совсем ничего не «значит», не имеет никакого «смысла», по крайней мере того «смысла», о котором мы здесь говорим. Может быть, это подобно природе, которая просто есть и ничего не «значит». Является ли «значение» неизбежно большим, чем простое *толкование*, «отаинствованное» потребностью жадного на «смысл» интеллекта? Можно было бы сказать, что искусство есть красота и в этом оно осуществляет и удовлетворяет самое себя. Оно не нуждается в смысле. Вопросу о смысле явно нечего делать с искусством. Если я ставлю себя в рамки искусства, то я должен, разумеется, подчиниться истине этого утверждения. Но если мы говорим об отношении психологии к произведению искусства, то мы уже стоим вне искусства, и тогда мы не можем поступать иначе, как спекулировать, как интерпретировать для того, чтобы вещи приобрели смысл; в противном случае мы бы и вовсе не могли думать о них. Мы должны раскрывать их собственную жизнь и совершающиеся в них события в образах, в смыслах, в понятиях, сознательно отдаляясь при этом от живой правды. Покуда мы сами захвачены творческим началом, мы не видим и не познаем, мы даже и не смеем познавать, потому что нет ничего более вредного и опасного для непосредственного переживания, как познание. Однако, чтобы познать, мы должны выйти за пределы творческого процесса и рассматривать его снаружи, и только тогда он станет образом, выражающим те или иные значения. Тогда мы не только можем, но даже и должны говорить о «смысле». И благодаря этому то, что раньше было чистым феноменом, становится чем-то таким, что в связи с другими феноменами имеет некое

значение, что играет определенную роль, служит известным целям, оказывает осмысленное воздействие. И если удастся все это увидеть, мы испытываем чувство, что нами нечто познано и объяснено. Это же свидетельствует о том, что потребность в науке удовлетворена.

Выше мы говорили о художественном произведении как о дереве, которое произрастает на питающей его почве; с тем же успехом мы могли бы тогда воспользоваться еще более пространственным сравнением с младенцем в утробе матери. Но, поскольку все сравнения хромают, мы лучше воспользуемся не метафорами, а более точной научной терминологией. Вы помните, что я назвал находящееся *in statu nascendi*<sup>9</sup> произведение автономным комплексом. Этим понятием обозначаются вообще все психические образования, которые сначала развиваются совершенно бессознательно и в сознание начинают прорываться лишь с того момента, как достигают его порога. Ассоциация, которую они в этом случае образуют с сознанием, имеет значение не ассимиляции, а перцепции. Это означает, что, хотя автономный комплекс и воспринимается, он, однако, не может быть подвержен ни сознательному контролю, ни сдерживанию, ни произвольному воспроизведению. Комплекс и обнаруживает свою автономию как раз в том, что появляется или исчезает тогда и таким образом, как это соответствует его собственной, ему присущей тенденции; он не зависит от произвола сознания. Этой особенностью, наряду со всеми остальными типами автономных комплексов, отличается и комплекс творческий. И именно здесь появляется также возможность аналогии с болезненными душевными процессами, ведь именно они характеризуются появлением автономных комплексов, а среди них более всего – душевные расстройства. Божественное неистовство художника имеет опасную реальную связь с болезненностью, не будучи ей тождественным. Аналогия состоит в наличии автономного комплекса. Однако этот факт сам по себе еще не доказывает присутствия чего-либо болезненного, потому что и нормальные люди также бывают подвержены временно или постоянно господству автономных комплексов. Наличие подобных комплексов является просто одним из нормальных свойств психики, и необходима уже некоторая высшая степень неосознанности для того, чтобы вовсе не замечать в себе их присутствия. Так, например, любая сколько-нибудь дифференцированная типовая установка имеет тенденцию стать автономным комплексом и в большинстве случаев становится им. Каждая потребность также в той или иной степени обладает свойствами автономного комплекса. Сам по себе автономный комплекс не представляет ничего болезненного, лишь его накопленные и нарушающие проявления вызывают страдание и недуг.

Как же образуется автономный комплекс? По какой-то причине – ее детальное рассмотрение завело бы нас слишком далеко – прежде бессознательная область психики приводится в движение; благодаря оживлению и включению родственных ассоциаций она развивается и разрастается. Сознание, естественно, лишается энергии, которая расходуется на этот процесс, если, конечно, оно не предпочтет отождествить себя с данным комплексом. Если же последнего не произошло, возникает то, что Жане обозначил как «*abaissement du niveau mental*»<sup>10</sup>. Интенсивность сознательных интересов и деятельностей постепенно убывает, из-за чего возникает либо апатичная инертность – состояние, встречающееся у художников довольно часто, – либо регрессивное развитие сознательных функций; под этим понимается опускание последних на их инфантильные и архаичные первоступени, то есть нечто вроде дегенерации. На передний план выходят «*parties inferieures des fonctions*»<sup>11</sup>: инстинктивное в противовес этическому, наивно-инфантильное на смену умудренному опытом, взрослому, неприспособленность вместо приспособленности. С подобным мы также встречались, анализируя жизнь

<sup>9</sup> В стадии зарождения, возникновения (*лат.*). – Примеч. ред.

<sup>10</sup> Понижение умственного уровня (*франц.*). – Примеч. ред.

<sup>11</sup> Низшие отделы функций (*франц.*). – Примеч. ред.

многих людей искусства. Эта лишенная сознательного личностного руководства энергия и является той базой, на которой разрастается автономный комплекс.

Что, однако, служит причиной образования автономного творческого комплекса? Этого вообще нельзя будет узнать, покуда завершённое произведение не откроет нам свои основы. Произведение представляет собой разработанный *образ* в самом широком смысле этого слова. Такой образ доступен анализу в той мере, в какой мы можем понять его как *символ*. Но если мы не в состоянии открыть в нём ценность символа, мы тем самым констатируем, что, по крайней мере для нас, он подразумевает не более того, что говорит явно, или, другими словами, он является для нас лишь таким, каким нам кажется. Я говорю «кажется», потому что наша робость, пожалуй, не позволит нам использовать другое понятие. Так или иначе, но здесь мы не находим повода и уязвимого места для проведения анализа. В первом же случае, однако, мы вспомним как об основном правиле о словах Герхарта Гауптмана: «Писать стихи – это значит заставлять звучать за словом первослово». В переводе на психологический язык наш первый вопрос стал бы звучать так: к какому элементарному образу коллективного бессознательного может быть сведён образ, проявившийся в художественном произведении?

Этот вопрос заслуживает многостороннего рассмотрения. Здесь же я рассматриваю, как уже было сказано, случай символического художественного произведения, причем такого, источники которого нельзя найти в *личном бессознательном автора*; они находятся в той сфере бессознательной мифологии, элементарные образы которой являются достоянием человечества. Поэтому я назвал эту сферу *коллективным бессознательным* и тем самым противопоставил её личному бессознательному, которым я обозначаю совокупность тех психических процессов и содержаний, которые, в принципе, способны достичь сознания, нередко и были уже осознанными, но вследствие своей несовместимости с сознанием подлежали вытеснению и, таким образом, задерживались под его порогом. Эта сфера также является источником произведений, но источники эти мутны, и, если они преобладают, художественное произведение становится не символическим, а *симптоматическим*. Этот вид искусства мы без сожаления и раскаяния можем уступить очищающему методу Фрейда.

В отличие от личного бессознательного, которое является в известной степени относительно поверхностным слоем сразу же под порогом сознания, коллективное бессознательное в обычных условиях неосознаваемо, поэтому даже с помощью аналитической техники нельзя вызвать воспоминание, поскольку оно не было ни вытеснено, ни забыто. Само по себе коллективное бессознательное вообще не существует; на самом деле оно является не чем иным, как возможностью, той самой возможностью, которая передается нам по наследству с древних времен посредством определенной формы мнемических образов или, выражаясь анатомически, через структуры мозга. Нет врожденных представлений, но, наверное, есть врожденная возможность представлений, которая определяет границы даже самой смелой фантазии, определяет, так сказать, категории деятельности фантазии, в известной степени идеи *a priori*, о существовании которых, однако, невозможно судить без наличия соответствующего опыта. *Они проявляются в оформленном материале в качестве регуляторных принципов его оформления*, то есть лишь посредством вывода из завершённого художественного произведения мы в состоянии реконструировать примитивные образцы элементарного образа.

Элементарный образ, или архетип, есть фигура – является ли она демоном, человеком или событием, – которая в процессе истории повторяется там, где свободно проявляется творческая фантазия. Из этого следует, что в первую очередь это мифологическая фигура. Если мы будем исследовать эти образы более тщательно, то откроем, что они являются в определенной степени обобщенной равнодействующей бесчисленных типовых опытов ряда поколений. Они представляют собой, так сказать, психические осадки бесчисленных переживаний подобного типа. Они усредняют миллионы индивидуальных опытов и дают, таким образом, картину психической жизни, разделенную и спроецированную на многочисленные образы мифологи-

ческого Пандемониума. Но мифологические образы уже сами по себе являются произведениями творческой фантазии, и они еще ожидают перевода на язык понятий, чего имеются лишь начала, дающиеся с большим трудом. Понятия, которые по большей части еще только предстоит выработать, могли бы быть посредниками в абстрактном научном познании бессознательных процессов, являющихся корнями элементарных образов. В каждом из них заключена часть человеческой психологии и человеческой судьбы, часть страдания и наслаждения, бесчисленное множество раз повторявшихся в ряду поколений и, в общем-то, всегда имевших одно и то же течение. Это как бы врезавшееся в душу русло, обнаруживающееся там, где жизнь, прежде неуверенно, на ощупь переправлявшаяся через широкую, но мелководную поверхность, неожиданно попадает в мощную реку, если произошло то особое стечение обстоятельств, которые издавна способствовали проявлению первообраза.

Момент, когда проявляется мифологическая ситуация, всегда характеризуется особой эмоциональной интенсивностью; это подобно тому, как если бы в нас была затронута струна, которая никогда прежде не звучала, или же если бы в нас были развязаны силы, о существовании которых мы никогда не подозревали. Борьба за существование – вещь нелегкая, поскольку здесь нам постоянно приходится сталкиваться с индивидуальными, так сказать атипичными, условиями. Однако если мы попадаем в типичную ситуацию, то не приходится удивляться неожиданному переживанию совершенно особого чувства свободы, ощущению, что нас либо кто-то поддерживает, либо захватывает какая-то могущественная сила. В такие моменты голос всего человечества поднимается в нас, и мы представляем собой уже не отдельные существа, но весь род человеческий, голос всего человечества поднимается в нас. Потому-то обособленный человек и не способен в полной мере использовать свои силы, разве что одно из коллективных представлений, называемых идеалами, не придет ему на помощь и не освободит в нем все те инстинктивные силы, доступ к которым обычное сознательное желание никогда само найти не может. Самые действенные из идеалов всегда являются достаточно прозрачными вариантами архетипа, который легко распознать потому, что такой идеал легко переводится на язык аллегорий; например, родина – это мать, причем аллегория обладает немалой побудительной силой, которая исходит от символического значения идеи отечества. Архетип является, так сказать, *participation mystique*<sup>12</sup> примитивного человека к почве, на которой он обитает и которая несет в себе лишь близкое ей по духу. Чужеродное – это беда. Любая связь с архетипом, пережитая она или просто выражена, «трогает», это значит, что она действует; ведь она освобождает в нас голос более могучий, чем наш собственный. Тот, кто разговаривает первообразами, говорит тысячью голосами; он постигает, преодолевает и вместе с тем возводит обозначаемое им из единичного и преходящего до сферы вечно сущего, он возвышает личную судьбу до судьбы человечества. Этим он освобождает также и в нас все те вспомогательные силы, которые всегда позволяли человечеству избавляться от опасности и пережить даже самую долгую ночь.

Вот в чем тайна художественного воздействия. Творческий процесс, насколько мы вообще имеем возможность за ним проследить, заключается в бессознательном оживлении архетипа и его же развитии и оформлении до законченного произведения. Оформление элементарного образа в определенной степени является переводом на язык современности, благодаря чему каждый становится способным, так сказать, заново найти подход к глубочайшим источникам жизни, которые иначе были бы потеряны. В этом состоит социальная значимость искусства: оно всегда трудится над воспитанием духа времени, переводя наверх те образы, которых последнему наиболее недостает. Тоска художника, возникшая из-за неудовлетворенности современностью, исчезает, как только она достигает в бессознательном того первообраза, который способен самым действенным образом компенсировать несовершенство и односторонность духа времени. Этот образ захватывается ею, и, по мере того как она достает его из

<sup>12</sup> Мистическая причастность (франц.). – Примеч. ред.

самой глубины бессознательного и приближает к сознанию, он также изменяет свой вид, пока не станет доступным пониманию современного человека. Характер художественного произведения позволяет нам, в свою очередь, сделать вывод о характере века, в котором оно возникло. Что означают реализм и натурализм для своего века? Что означает романтика? Что означает эллинизм? Все это направления искусства, которые выносят на свет то, что было наиболее необходимо соответствовавшей тому времени духовной атмосфере. Художник в качестве воспитателя своего века – об этом можно было бы говорить очень долго.

Народы и времена, так же как и отдельные индивиды, обладают соответствующими им духовными направлениями, или установками. Уже само слово «установка» обнаруживает обязательную односторонность, свойственную каждому определенному направлению. Там, где есть направление, там есть и исключение. Исключение же означает то, что многое в психике, что, в принципе, могло бы сосуществовать, на самом деле сосуществовать не может, ибо оно не соответствует общей установке. Обыкновенный человек может переносить общее направление без ущерба для себя; но именно человеку, не способному идти по широкой дороге, а идущему окольным путем, скорее всего, откроется то, что лежит в стороне от этой большой дороги и ожидает своего включения в жизнь. Относительная неприспособленность художника воистину является его подлинным преимуществом, ибо она позволяет ему не идти по большой дороге, а следовать за своей тоской и обнаружить, даже не подозревая об этом, то, в чем нуждаются остальные. Стало быть, если у отдельного индивида односторонность его сознательной установки корректируется бессознательными реакциями путем саморегуляции, то искусство представляет собой аналогичный процесс духовной саморегуляции в жизни наций и времен.

Я вполне отдаю себе отчет в том, что в рамках одного доклада мне удалось изложить только отдельные положения, да и то лишь сделать их беглый набросок. Но, наверное, я могу надеяться, что все то, чего я не сумел сказать, а именно о конкретном применении изложенного подхода к художественной литературе, все же подразумевалось и тем самым придало моим абстрактным положениям телесную оболочку.

## Противоречия Фрейда и Юнга<sup>13</sup>

О различиях во взглядах Фрейда и моих собственных должен был бы, скорее, писать тот, кто стоит снаружи, вне сферы влияния идей, которые зовутся «Фрейдом» и «Юнгом». Не знаю, смогу ли я положиться на свою объективность и насколько беспристрастно она позволит мне говорить даже о моих собственных идеях. Возможно ли это вообще? Я сомневаюсь. И если кому-нибудь удастся проделать этот мюнхгаузенский фокус, то я готов спорить, что его идеи в конечном счете самому ему не принадлежали.

Разумеется, идеи, имеющие многих сторонников, никогда не принадлежат их так называемому создателю; в большей степени он сам находится в кабале у своей идеи. Захватывающие, или так называемые истинные, идеи содержат в себе нечто особенное: они обязаны происхождением непреходящему, всегда существующему, материнским первопричинам, из которых эфемерный дух отдельного человека вырастает как растение, которое цветет, приносит плод и семя, увядает и умирает. Идеи обязаны происхождением чему-то более великому, нежели отдельный человек. Не мы их делаем, а, наоборот, мы сделаны ими.

С одной стороны, идеи являются неизбежным признанием того, что не только высшее в нас, но также и наше несовершенство и личная наша ничтожность рвутся на свет дня. Идеи абсолютны, они над психологией! Откуда иначе им взяться, как не из субъективного? Может ли защитить нас опыт от субъективной предвзятости? Не является ли всякий опыт, даже в самом наилучшем случае, по крайней мере наполовину субъективным толкованием? С другой стороны, однако, субъект тоже является объективной данностью, частицей мира, и то, что от него исходит, в конце концов исходит из основы мира, ведь даже самое редкое и невероятное живое существо носит на себе и питает общая для всех нас земля. Как раз самые субъективные идеи и являются тем, что ближе всего стоит к природе и сущности, поэтому их можно было бы назвать и самыми истинными. Но «что есть истина»?

В психологии я прежде всего отказался бы от мысли, что мы, современные люди, вообще в состоянии высказать что-либо «истинное» или «правильное» о сущности души. Лучшее, что мы можем сделать, – это *правдиво выразить*. «Правдиво выразить» – значит понять и подробно изложить субъективно данное. Один будет делать ударение на *формовании* данного и поэтому полагать себя творцом своего данного, другой будет выделять *созерцание*, а потому говорить о *являющемся*, при этом он сознает себя воспринимающим существом. Истина лежит, наверно, посередине: *правдивое выражение – это формирующее созерцание*.

В этом приеме и действии заключено все, чем может похвалиться даже самое честолобное притязание современных психологов. Наша психология – это более или менее удачно оформленное познание некоторых людей, но так как эти люди в достаточной степени типичны, то такое познание можно использовать также и для довольно полного описания множества других людей. Однако те, кто обнаруживают другой тип, тоже ведь относятся к роду человека, а из этого можно заключить, что и они, правда в незначительной степени, затронуты этим знанием. То, что Фрейд говорит о роли сексуальности, об инфантильном удовольствии и его конфликте с «принципом реальности», об инцесте и о таком же конфликте, – все это прежде всего является самым верным выражением его личной психологии. Это удачно оформленное выражение субъективно данного. Я не противник Фрейда, хотя его собственная близорукость и близорукость его учеников хотят поставить на мне такое клеймо. Ни один опытный врачеватель души не может отрицать того, что имеются по меньшей мере десятки случаев, когда психология по всем основным моментам согласна с Фрейдом. Поэтому Фрейд именно своим субъективным

<sup>13</sup> Опубликовано в: Kömische Zeitung (Köm, 7 Mai 1929) [Ges. Werke IV]. – Примеч. ред.

знанием способствовал рождению великой человеческой истины. Он сам является наглядным примером своей психологии и посвятил свою жизнь и творчество выполнению этой задачи.

Каков сам человек, так он и видит. А поскольку у различных людей и психическая организация различна, то они соответственно и видят по-разному, и выражают разное. И прежде других это продемонстрировал один из самых первых учеников Фрейда Альфред Адлер; он излагал тот же самый опытный материал с совершенно иной точки зрения, и его способ смотреть на вещи является по крайней мере не менее убедительным, чем способ Фрейда, потому что сам Адлер представляет тип психологии, который также встречается достаточно часто. Представители же обеих этих школ, как мне известно, считают меня, вне всяких сомнений, неправым, но я уверен, что история и все непредвзято мыслящие люди признают мою правоту. Я не могу не высказать упрека обоим школам в том, что они чрезмерно склонны рассматривать человека под углом его дефектов и патологии. Убедительным примером этого является неспособность Фрейда понять *религиозное переживание*<sup>14</sup>.

В отличие от него я предпочитаю понимать человека, исходя из его здоровья, и даже стремлюсь освобождать больных от той психологии, которая излагается на каждой странице произведений Фрейда. Мне неизвестны такие случаи, где Фрейд хоть в чем-то вышел бы за рамки собственной психологии и избавил своего пациента от того недуга, от которого к тому же страдает и сам врач. Его психология представляет собой психологию невротического состояния определенной чеканки, следовательно, она является действительно истинной лишь в пределах соответствующего состояния. В рамках этих границ Фрейд прав и законен – даже там, где он ошибается. Ведь и это тоже относится к общей картине, а потому вполне соответствует его вероисповеданию. Но подобная психология, основанная к тому же – а это симптом болезненности – на некритичном, бессознательном мировоззрении, которому свойственно значительно суживать горизонты переживания и видения, – такая психология не может являться психологией здоровых людей. Фрейд был во многом не прав, отказавшись от философии. Он никогда не критикует свои исходные положения, так же как ни разу им не подвергались критике и его собственные психологические предпосылки. В свете моих предыдущих рассуждений это легко можно понять как необходимость; ведь критика своих собственных положений, наверное, лишила бы его возможности *наивно*<sup>15</sup> изложить свою оригинальную психологическую систему. Во всяком случае – я чувствую, – это стоило бы ему большого труда. Я никогда не пренебрегал горько-сладким напитком критической философии и предусмотрительно принимал его, по крайней мере, в *refracta dosi*<sup>16</sup>. Слишком мало – скажут мои противники. Даже чересчур много – говорит мое собственное чувство. Легко, слишком легко отравляет самокритика изысканное добро наивности, тот дар, который так необходим каждому творческому человеку. Во всяком случае, философская критика помогала мне увидеть субъективный характер познания любой психологии – в том числе и моей. Однако я должен запретить моей критике лишать меня своей собственной возможности формования. И хотя я знаю, что за каждым словом, которое я высказываю, стоит моя особенная и единственная в своем роде Самость со своим специфичным для нее миром и своей историей, я все-таки буду следовать за своей потребностью говорить от самого себя в пределах так называемого опытного материала. Этим я всего лишь служу цели человеческого познания, которой также хотел служить и Фрейд и которой он, несмотря ни на что, служил. Знание основывается не только на истине, но и на заблуждении.

---

<sup>14</sup> Ср.: Freud, Die Zukunft einer Illusion.

<sup>15</sup> Ср.: Freud, Die Traumdeutung.

<sup>16</sup> Малая доза (лат.). – Примеч. ред.

Понимание субъективного характера всякой психологии, созданной отдельным человеком, является, пожалуй, той отличительной чертой, которая самым строгим образом отделяет меня от Фрейда.

Другим отличительным признаком представляется мне тот факт, что я стараюсь не иметь бессознательных и, следовательно, некритичных исходных мировоззренческих пунктов. Я говорю «стараюсь», ибо кому известно наверняка, что у него нет бессознательных исходных посылок? По крайней мере, я стараюсь избегать самых грубых предубеждений и поэтому склонен признавать всех возможных богов, предполагать, что все они проявляют себя в человеческой душе. Я не сомневаюсь, что природные инстинкты, будь то эрос или жажда власти, с большой силой проявляются в душевной сфере; я не сомневаюсь даже в том, что эти инстинкты противостоят *духу*, ведь они всегда чему-то противостоят, и почему тогда это что-то не может быть названо «духом»? Насколько мало я знаю, что такое сам по себе «дух», настолько же мало мне известно и то, что такое «инстинкты». Одно столь же таинственно для меня, как и другое, и я совершенно не способен объявить одно из двух недоразумением; ведь то, что Земля имеет только *одну* Луну, не есть недоразумение: в природе нет недоразумений, они существуют лишь в сфере того, что человек называет «разумом». В любом случае инстинкт и дух находятся по ту сторону моего понимания; все это понятия, которые мы употребляем для неизвестного, но властно действующего.

Поэтому мое отношение ко всем *религиям* позитивно. В содержании их учений я вновь узнаю те фигуры, с которыми сталкиваюсь в сновидениях и фантазиях моих пациентов. В их *морали* я вижу попытки, подобные тем, с помощью которых мои пациенты интуитивно стараются найти верный способ обходиться с силами собственной души. *Священнодействия*, ритуалы, инициации и аскетизм чрезвычайно интересны для меня как пластичные и разнообразные техники создания правильного пути. Таким же позитивным является мое отношение к биологии и вообще ко всему естественно-научному эмпиризму, который представляется мне мощной попыткой охватить душу снаружи; и наоборот, религиозный гнозис кажется мне такой же гигантской попыткой человеческого духа познать ее изнутри. В моей картине мира присутствует огромное внешнее и такое же огромное внутреннее, а между ними находится человек, обращенный то к одному, то к другому полюсу, чтобы в зависимости от темперамента и склонностей считать абсолютной истиной то одно, то другое и в зависимости от этого отрицать одно ради другого или же приносить этому другому в жертву первое.

Данная картина является, конечно, предположением, но таким, от которого я отступить не намерен, ибо оно слишком ценно для меня в качестве гипотезы. Я нахожу как эвристическое, так и эмпирическое подтверждение данного предположения, а в силу *consensus gentium*<sup>17</sup> оно для меня вообще бесспорно. Из этой гипотезы, источником которой, несомненно, являюсь я сам, и возникло мое учение о типах – даже если я и воображаю себе, что вывел его из опыта, – а также мое примирение с расходящимися точками зрения, как, например, с тем же Фрейдом.

На представлении о противоречивой картине мира основывается и моя идея о психической энергии, которая должна рождаться из взаимодействия противоположностей подобно энергии физического явления, предполагающей существование противоположений типа горячо – холодно, высоко – низко и т. д. Если для Фрейда сексуальность вначале была чуть ли не единственной психической инстинктивной силой и лишь после моего отделения он начал учитывать другие факторы, то я охватываю понятием энергии все более или менее *ad hoc*<sup>18</sup> сконструированные душевные побуждения или силы, чтобы исключить произвольные положения обычной энергетической психологии, уйти от которых в противном случае представляется практически невозможным. Поэтому я больше не говорю о силах или отдельных влечениях;

---

<sup>17</sup> Согласие всех (*лат.*) – *Примеч. ред.*

<sup>18</sup> Для этого, для определенного случая (*лат.*) – *Примеч. ред.*

я говорю теперь о «ценностной интенсивности»<sup>19</sup>. Но этим не отрицается важность сексуальности в психическом явлении, как это упорно приписывает мне Фрейд. Просто должно быть запружено наводнение души терминологией сексуальности, а сама сексуальность поставлена на подобающее ей место.

В конце концов, она является – и этого не будет отрицать ни один здравомыслящий человек – лишь *одним* из биологических инстинктов, лишь *одной* из психофизиологических функций, пусть даже и очень важной и богатой последствиями. Но что, например, произойдет, если мы перестанем питаться? Относящаяся к сексуальности психическая сфера в настоящее время, несомненно, в значительной степени нарушена, но если даже один зуб способен так сильно беспокоить, то душу в целом можно сравнить с челюстью, полной больных зубов. Тип сексуальности, описываемый Фрейдом, является, несомненно, сексуальной навязчивой идеей, которая всякий раз встречается там, где пациента необходимо выманить либо вытолкнуть из неподходящей ситуации или установки. Это вид застойной сексуальности, которая снижается до нормальной пропорции, как только освобождается путь к развитию. Чаще всего это застревание в семейном чувстве обиды, в эмоциональной надоедливости так называемого семейного романа, ведущих к запруживанию жизненной энергии, что является как раз тем застоєм, который неизбежно проявляется в форме так называемой инфантильной сексуальности. В данном случае речь идет не об изначальной природной сексуальности, а о неестественном оттоке напряжения, которое было бы на своем месте в какой-либо другой области жизни. Тогда зачем же нужно плавать в этой наводненной области? Ведь намного важнее – так, по крайней мере, кажется прямолинейному разуму – открыть сточные каналы, то есть найти те возможности или установки, которые обеспечат выход энергии, иначе получится не что иное, как *circulus vitiosus*<sup>20</sup>, каким представляется мне фрейдовская психология. У нее нет никакой возможности освободиться от безжалостного ярма биологического явления. Отчаявшись, надо воскликнуть вместе с Павлом: «Я бедный человек, кто же избавит меня от бремени этой смерти?» А наш духовный человек, покачивая головой, говорит вместе с Фаустом: «Ты осознаешь только одно влечение», то есть телесные оковы, ведущие назад к отцу и матери или вперед к детям, которые произошли из нашей плоти, – «инцест» с прошлым и «инцест» с будущим, наследный грех увековечивания «семейного романа». Поэтому единственным избавителем здесь может быть только дух, тот самый противоположный полюс явлений мира; не дети плоти, а «дети Бога» испытывают свободу. В «Дне тотема» Эрнста Барлаха мать-демоница говорит в трагическом финале семейного романа: «Удивительно лишь то, что человек не желает признать Бога своим отцом». Именно этого никогда не хотел признать Фрейд, и против этого выступают все его единомышленники, или, по крайней мере, они не могут подобрать к этому ключ. Теология не идет навстречу ищущим, потому что она требует веры, являющейся, в свою очередь, подлинной и верной харизмой, которую никто не в состоянии сотворить сам. Мы, современные люди, вынуждены заново переживать дух, то есть овладевать прежним опытом. Это единственная возможность разорвать заколдованный круг биологического явления.

Данное положение является третьим пунктом, который отличает мою точку зрения от взглядов Фрейда. Из-за этого пункта мне часто предъявляют обвинение в мистицизме. Ноя не считаю себя ответственным за тот факт, что человек всегда и везде естественным образом развивал религиозную функцию и что поэтому человеческая душа с давних пор пропитана и пронизана религиозными чувствами и представлениями. Кто не видит этого аспекта человеческой души, тот не видит ничего, а кто пытается досконально объяснить или даже просто разъяснить его – лишен чувства реальности. Или, может, отцовский комплекс, пронизывающий всю фрейдовскую школу с головы до пят, доказывает, что произошло достойное упоминания

<sup>19</sup> Ср.: Über psychische Energetik und das Wesen der Träume.

<sup>20</sup> Порочный круг (лат.). – Примеч. ред.

избавление от фатальности семейного романа? Этот отцовский комплекс с его фанатичной закостенелостью и слишком большой чувствительностью является непонимаемой религиозной функцией, мистицизмом, который овладел биологическим и семейным. Своим понятием «Сверх-Я» Фрейд делает робкую попытку втиснуть древний образ Иова в свою психологическую теорию. О таких вещах лучше говорить ясно. Поэтому я предпочитаю называть вещи именами, которыми они всегда назывались.

Колесо истории нельзя повернуть вспять, и шаг человечества к духовному, начало которому положено еще первобытными инициациями, не должен отрицаться. Конечно, наука не только может, но и должна образовывать частные области с ограниченными гипотезами; однако душа является вышестоящей, по сравнению с сознанием, целостностью, матерью и предусловием сознания, поэтому наука также является лишь одной из присущих ей функций, которая никогда не исчерпает полноту ее жизни. Врачевателю души нельзя прятаться за угол патологии и быть непомерно глухим к пониманию того, что даже больная душа все же является человеческой и что, несмотря на свою болезнь, она все-таки бессознательно участвует во всеобщности жизни человечества. Более того, он даже должен уметь признать и то, что «Я» страдает не только из-за своего отделения от общего, а следовательно, от человечества, но также и из-за потери духовности. «Я» фактически является «средоточием страха», как правильно говорит Фрейд<sup>21</sup>, а именно до тех пор, пока оно снова не возвратится к отцу и матери. Фрейд разбивается о вопрос Никодима: «Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?»<sup>22</sup> История повторяется – *si licet parva componere magnis*<sup>23</sup> – в виде домашнего спора современной психологии.

С давних времен инициации учат о рождении из духовного, а человек удивительным образом снова и снова забывает о божественном зачатии. Такая забывчивость не указывает на какие-то особые силы духа, более того, последствия ее выражаются в невротическом недоразвитии, озлобленности, сужении интересов, опустошенности. Нетрудно избавиться от духа, но в супе не будет соли, «соли земли». Ведь дух снова и снова доказывает свою силу в том, что от поколения к поколению передаются важнейшие учения и посвящения древних. Снова и снова находят люди, понявшие значение того, что их отцом является Бог. Равновесие телесного и духовного оставляет сферу духа сохранной.

Противоречия между Фрейдом и мною основываются главным образом на различии принципиальных предварительных положений. Но предварительные положения неизбежны, а поскольку это так, то и не надо делать вид, будто бы их вовсе не было. Я осветил здесь прежде всего принципиальные аспекты наших позиций, ибо, основываясь на них, легче понять все многочисленные частные различия между моей и Фрейда точками зрения.

---

<sup>21</sup> Das Ich und das Es.

<sup>22</sup> Ев. от Иоанна, 3:4. – *Примеч. ред.*

<sup>23</sup> Если можно сравнить малое с великим (*лат.*). – *Примеч. ред.*

## Цели психотерапии<sup>24</sup>

Сегодня, пожалуй, все едины во мнении, что неврозы являются функциональными психическими нарушениями, а поэтому они должны лечиться посредством психического воздействия. Однако когда переходят к вопросу о структуре невроза и принципах терапии, то на этом единство кончается, и нужно признать, что на сегодняшний день еще не существует всесторонне удовлетворительной точки зрения ни на сущность неврозов, ни на принципы их лечения. Даже если в связи с этим особо заставили о себе говорить два течения, или школы, то общее число расходящихся мнений этим далеко еще не исчерпывается. Среди нас имеется бесчисленное множество «беспартийных», отстаивающих в этом общем столкновении мнений свою особую точку зрения. Если бы нам захотелось набросать всеобъемлющую картину этого разнообразия, то пришлось бы, наверное, собрать на палитре все цвета радуги со всеми их оттенками. Будь это в моих силах, я бы обязательно постарался сделать это, потому что всегда испытывал потребность рассматривать различные мнения в их совокупности. Однако мне лично не приходилось наблюдать, чтобы эти расходящиеся мнения сохраняли свои правомочия в течение долгого времени. Но ведь такие мнения не могли бы даже и возникнуть, а тем более собрать вокруг себя свиту, если бы они не соответствовали какой-нибудь особой психологии, какому-либо исключительному темпераменту или же некоему более или менее часто встречающемуся психическому явлению. Если бы мы исключили такое мнение как просто ошибочное и неприемлемое, то тем самым мы просто отвернулись бы от этого исключительного темперамента или от этого особого явления как от некоего недоразумения, то есть в результате было бы совершено насилие над нашим собственным опытным материалом. Успех, который снискал Фрейд своей каузальной сексуальной теорией неврозов и своими представлениями о том, что психическое явление, в сущности, вращается вокруг инфантильного стремления к удовольствию и его удовлетворения, должен был указать психологам на тот факт, что данный способ мыслить и чувствовать совпадает с довольно широко распространенным настроением, скорее даже с духовным течением, которое вне связи с фрейдовской теорией проявилось в качестве коллективно-психологического явления также и в других сферах, при других обстоятельствах, в других умах и в других формах. С одной стороны, я здесь вспоминаю о работах Хэвлока Эллиса и Аугуста Фореля и о составителях «Anthropophyteia»<sup>25</sup>, а затем о сексуальных экспериментах послевикторианской эпохи в англосаксонских странах и о широкой дискуссии о сексуальной материи, возникшей в так называемой изящной литературе, пожалуй, одновременно с французскими реалистами. Фрейд представляет собой одно из проявлений душевной реальности нашего времени, имеющей опять-таки свою особую историю, в которую мы здесь по вполне понятным причинам вдаваться далее не можем.

Успех, который, подобно Фрейду, снискал по ту и эту сторону океана Адлер, указывает на тот бесспорный факт, что основывающаяся на неполноценности потребность в самоутверждении подходит в качестве объяснительного принципа для довольно большого числа людей. Нельзя отрицать, что эта точка зрения охватывает душевную реальность, для которой во фрейдовской концепции просто не нашлось места. Мне, пожалуй, нет надобности указывать на то, какие коллективно-психологические и социальные условия «идут навстречу» адлеровской точке зрения и делают ее своим теоретическим выражением. Это совершенно очевидно.

Было бы непростительной ошибкой не замечать истины этих точек зрения – и фрейдовской, и адлеровской. Но столь же непростительно было бы считать любую из них за единствен-

---

<sup>24</sup> Доклад, опубликованный в: Kongreßbericht der Deutschen Psychotherapeutischen Gesellschaft (1929) [Ges. Werke XVI (1958)]. – *Примеч. ред.*

<sup>25</sup> [Leipzig, 1904–1913].

ную истину. Обе истины соответствуют определенным психическим реалиям. И в самом деле, одни случаи в целом лучше всего можно изложить и объяснить в рамках первой теории, другие же – в рамках второй.

Ни одного из этих авторов я не могу уличить в фундаментальном заблуждении, напротив, я стараюсь, насколько это возможно, применять обе гипотезы, вполне признавая их относительную истинность. Мне бы никогда не пришло в голову разойтись с Фрейдом, если бы я не натолкнулся на факты, вынудившие меня пойти на модификации. То же самое касается моего отношения к точке зрения Адлера.

После всего только что мною сказанного вряд ли нужно подчеркивать относительную для меня истинность моей собственной расходящейся точки зрения; я настолько ощущаю себя простым выразителем другой диспозиции, что вполне мог бы присоединиться к Колриджу: «Я верую только в одну церковь, единственным членом которой являюсь пока я сам, – в церковь, делающую счастливым».

Сегодня мы нигде не должны быть так скромны и так считаться с кажущимся множеством противоречивых мнений, как в прикладной психологии, ибо нам еще так далеко до того, чтобы познать хотя бы что-нибудь существенное о самом важном объекте науки – о человеческой душе. Пока у нас есть просто более или менее приемлемые мнения, которые по-прежнему не желают ни в чем совпадать.

Поэтому если я выступаю перед публикой, чтобы хоть отчасти выразить свою позицию, то это не следует понимать как расхваливание новой истины и тем более как провозглашение заверченного Евангелия. В сущности, я могу говорить лишь о двоякого рода попытках: либо о прояснении непонятных для меня душевных фактов, либо о преодолении терапевтических трудностей.

Как раз к этому последнему пункту я и хотел бы теперь приступить. Ибо именно здесь возникает самая непосредственная необходимость в модификациях. Неудовлетворительную теорию можно терпеть, в общем-то, достаточно долго, но это не относится к неудовлетворительным терапевтическим методам. За время моей почти тридцатилетней психотерапевтической практики я обзавелся внушительной коллекцией неудач, которые были для меня гораздо более впечатляющими, чем мои успехи. Успехи в психотерапии могут быть у каждого, вплоть до примитивного знахаря. Однако успехи мало чему могут научить психотерапевта, поскольку они главным образом утверждают его в его же собственных заблуждениях. Неудачи, напротив, предоставляют необычайно ценный опыт: в них не только открывается путь, приближающий нас к истине, они побуждают нас также к изменению нашей позиции и метода.

Будучи вынужден признать, что своими значительными достижениями в лечебной практике я в первую очередь обязан Фрейду, а вслед за ним и Адлеру, благодаря использованию в процессе лечения пациентов возможностей, предоставляемых их теориями, я тем не менее должен подчеркнуть, что терпел и неудачи, оставившие у меня чувство, что их можно было бы избежать, приняв во внимание факты, вынудившие меня в дальнейшем изменить свои взгляды.

Едва ли реально изобразить здесь все обстоятельства, с которыми мне приходилось сталкиваться. Поэтому я вынужден довольствоваться возможностью выделить хотя бы некоторые типичные случаи. Основные трудности были у меня с пациентами среднего и преклонного возраста, то есть за сорок лет. С более молодыми людьми я исходил, как правило, из известных уже точек зрения, потому что общей целью и для Фрейда, и для Адлера является приспособление и нормализация пациентов. Обе теории можно настолько успешно применять для лечения молодых людей, что в результате не остается, похоже, даже следов болезни. С пожилыми людьми, согласно моему опыту, такого обычно не происходит. Мне вообще кажется, что основные феномены душевной жизни с возрастом значительно изменяются, причем настолько, что можно, пожалуй, говорить о психологии расцвета и заката жизни. Жизнь молодого человека, как правило, проходит под знаком общей экспансии со стремлением к достижению лежащих на

поверхности целей, а его неврозы, по-видимому, основываются главным образом на нерешительности или на отступлении от этого направления. Жизнь стареющего человека, напротив, проходит под знаком контракции, утверждения достигнутого и сокращения внешней активности. Его невроз основывается, как правило, на не свойственном для его возраста застревании на юношеских установках. Если молодой невротик пугается жизни, то пожилой отступает перед смертью. То, что когда-то было для юноши нормальной целью, для пожилого становится невротическим препятствием, точно так же как из-за нерешительности молодого невротика его первоначально нормальная зависимость от родителей превращается в противные жизни отношения инцеста. Естественно, что неврозы, сопротивление, вытеснение, фикции и т. д. у молодого человека имеют противоположное значение в сравнении с пожилым, несмотря на кажущееся внешнее сходство. Соответственно этому мы, пожалуй, должны изменить также и цели терапии. Поэтому возраст пациента представляется мне в высшей степени важным показателем.

Однако и в самой молодой фазе жизни показания могут быть различны. Так, на мой взгляд, будет ошибкой использование фрейдовской теории для лечения пациента с адлеровским типом психологии, то есть, например, неудачника с инфантильной потребностью в самоутверждении, и точно так же было бы большим недоразумением навязывать адлеровскую точку зрения, например, человеку удачливому, обладающему выраженным стремлением к получению удовольствия. В сомнительных же случаях ценным указателем может служить сопротивление больного. Я вообще склонен всерьез принимать стойкое сопротивление пациента – как бы парадоксально это ни звучало. То есть я убежден, что иногда пациент лучше врача знает свои душевные качества, поскольку бывает, что самим врачом, даже в его собственной душе, эти качества не всегда бывают полностью осознаны. Такая скромность врача вполне уместна перед лицом того факта, что до сих пор нет не только общей удовлетворительной психологической теории, но вдобавок существует множество неизвестных темпераментов и более или менее индивидуальных психик, не укладывающихся ни в одну схему.

Опираясь на уже отмеченные многими знатоками людей типологические различия, я, как известно, *in puncto* темперамент предполагаю наличие двух основных противоположных установок, а именно *экстравертированной* и *интровертированной*. Эти установки я также рассматриваю в качестве важных индикаторов, равно как и преобладание одной из известных психических функций над остальными<sup>26</sup>.

Неслышанное разнообразие индивидуальной жизни ставит врача перед необходимостью постоянно модифицировать свои подходы к лечению, что им и делается, причем зачастую совершенно неосознанно, а если уж подходить строго, даже вступает в противоречие с его теоретическим вероисповеданием.

Рассматривая вопрос о темпераменте, я не могу не упомянуть о том, что у человека имеются важные *духовные* и такие же важные *материалистические* установки, которые отнюдь нельзя считать некими случайными свойствами, приобретенными просто по недоразумению. Часто встречаются даже такие врожденные пристрастия, которые не поддаются ни критике, ни убеждению, а бывают случаи, когда вроде бы явный материализм является, в сущности, уступкой религиозного темперамента. В существование обратных случаев верится сегодня еще легче, хотя они встречаются не чаще, чем другие. Все это тоже индикация, пренебрегать которой нельзя.

Употребление слова «индикация» предполагает, казалось бы, как в любой другой области медицины, ту или иную форму терапии. Наверное, так это и должно быть, однако психология, во всяком случае психотерапия, продвинулась сегодня еще не так далеко, отчего выражение «индикация» означает, к сожалению, немногим более, чем предостережение от односторонности. Человеческая психика представляет собой нечто чрезвычайно двусмысленное. В каждом

---

<sup>26</sup> Ср.: Psychologische Typen. Definitionen, Stichwort «Funktion» [Ges. Werke VI (1960–1967)].

отдельном случае нужно ставить вопрос, является ли это *на самом деле* установкой, так называемой конституцией, или же, может быть, это просто компенсация противоположного. Я должен признаться, что, отвечая на этот вопрос, мне приходилось очень часто ошибаться, и поэтому в конкретных случаях я по возможности отказываюсь от всяких теоретических предположений относительно структуры невроза и того, что должен и может сделать пациент. Насколько это возможно, я оставляю право решать вопрос о терапевтических целях в каждом отдельном случае за чистым опытом. Наверное, это покажется странным, ведь обычно предполагается, что психотерапевт всегда имеет свою определенную цель. Мне кажется, что в психотерапии прямо-таки необходимо, чтобы врач не придерживался слишком жестко намеченной цели. Вряд ли он может знать больше, чем природа и чем воля больного к жизни. Главные решения человеческой жизни, как правило, в гораздо большей степени подчинены инстинктам и прочим таинственным, бессознательным факторам, чем сознательной произвольности и благим намерениям разума. Общеудовлетворительного жизненного рецепта не существует – ботинок, который впору одному, жмет ногу другому. У каждого, наверное, есть своя иррациональная форма жизни, которая никем другим навязана быть не может.

Все это, конечно, не означает, что не надо стремиться, насколько это возможно, к нормализации и рационализации. Если терапевтический успех достигнут, то тогда, пожалуй, можно довольствоваться тем, что есть. Если же он неудовлетворителен, то волей-неволей терапия должна считаться с иррациональными реалиями больного. Здесь мы должны следовать за природой, а то, что в данном случае делает врач, является скорее не лечением, а развитием уже имеющихся в пациенте творческих ростков.

Все, что я могу сказать, относится к моменту, когда оканчивается лечение и начинается развитие. Стало быть, мой вклад в терапию ограничивается теми случаями, где рациональное лечение не достигает удовлетворительного результата. Материалы о больных, имеющиеся в моем распоряжении, собираются своеобразно: свежие случаи составляют явное меньшинство. Большинство же имеют за собой одну из форм психотерапевтического лечения, то есть лечение с частичным или негативным результатом. Более двух третей моих пациентов находятся уже на склоне лет, и примерно в трети случаев они страдали не от клинически определенных неврозов, а от бессмысленности и беспредметности своей жизни. Я ничего не имею против того, чтобы охарактеризовать подобную тенденцию как общий невроз нашего времени.

Этот своеобразный материал оказывает рациональному методу лечения особое сопротивление, наверное, потому, что большинство пациентов хорошо социально адаптировано, часто они способны к незаурядным достижениям и нормализация их состояния ничего для них значить не будет. Что же касается, так сказать, нормальных пациентов, то я тем более не в состоянии подать им на стол готовый рецепт жизни. В большинстве моих случаев ресурсы сознания исчерпаны; на этот счет есть удачное английское выражение: «I am stuck» («Я застрял»). Эти факты заставляют меня искать главным образом бессознательные возможности. Ибо я ничего не могу ответить пациенту на вопросы: «Что вы мне посоветуете? Что я должен делать?» Мне это неизвестно так же, как и ему. Я знаю только одно: если мое сознание больше не видит перед собой проходимую дорогу и поэтому застревает, то моя бессознательная душа обязательно будет реагировать на непереносимый застой.

Это застревание представляет собой душевный процесс, который на протяжении развития человечества повторялся такое бесчисленное число раз, что даже стал одним из мотивов тех сказок и мифов, где появляется нечто вроде палочки-выручалочки, чтобы пройти через запертые ворота, или какой-нибудь зверек, помогающий найти потайной ход. То есть, выражаясь другими словами, застревание – это типичное явление, которое, наверное, во все времена побуждало к таким же типичным реакциям и компенсациям; следовательно, с некоторой долей вероятности мы можем полагать, что нечто подобное будет всплывать и в реакциях бессознательного, например в сновидениях.

Поэтому в подобных случаях особое внимание я уделяю прежде всего *сновидениям*. Я поступаю так не потому, что опираюсь на идею о необходимости обязательно работать со сновидениями, и не потому, что у меня есть какая-то таинственная теория сновидений, которой я так или иначе должен следовать; я делаю это лишь вследствие затруднений. Я не знаю, где бы еще я мог что-либо раздобыть. Поэтому я и пытаюсь обнаружить нечто в сновидениях, ведь они все же дают образы воображения, они указывают хотя бы на что-то, а это все-таки больше, чем ничего. У меня нет теории сновидений, я не знаю, как они осуществляются. Я также абсолютно не уверен, заслуживает ли вообще мой способ работы со сновидениями того, чтобы быть названным *методом*. Я разделяю все предубеждения против толкования сновидений как квинтэссенции сомнительности и произвола. Но, с другой стороны, я знаю, что если достаточно долго и основательно медитировать над содержанием сновидения, то при этом, как правило, всегда что-то обнаруживается. Это «что-то» не будет, конечно, научным результатом, которым можно было бы похвастаться или который можно было бы рационализировать, но это важный в практическом отношении знак, показывающий пациенту, куда направлен бессознательный путь. Для меня не важно, доказуем ли и надежен ли с научной точки зрения результат размышлений над сновидением, в противном случае я преследовал бы ауто-эротическую побочную цель. Я должен быть полностью удовлетворен тем, что результат этот о чем-то говорит пациенту и придает направленность его жизни. Следовательно, единственным критерием, который может быть мною признан, является тот факт, что результат моих стараний *действует*. Свое научное пристрастие, а именно желание знать, почему он действует, я должен в данном случае оставить для домашних изысканий.

Бесконечно разнообразны содержания инициальных сновидений, то есть сновидений, стоящих в начале попыток такого рода. Во многих случаях сновидения обращаются назад, к прошлому, и напоминают о забытом и утраченном. Дело в том, что подобные застои и дезориентации часто возникают тогда, когда образ жизни становится односторонним, то есть в этом случае может наступить неожиданная, так сказать, потеря либидо. Все прежние занятия становятся тогда неинтересными, даже бессмысленными, а цели их вдруг перестают быть привлекательными. Но то, что у одного является лишь преходящим настроением, у другого может стать хроническим состоянием. В таких случаях зачастую бывает так, что никто, даже сам пациент, не подозревает о том, что где-то зарыты иные возможности развития личности. Сновидение же помогает обнаружить их след.

В других случаях сновидение указывает на такие факты действительности, например на брак, социальное положение и др., которые сознание никогда не воспринимало как проблемные или конфликтные.

Но все это по-прежнему находится в сфере рационального, и для меня, пожалуй, не составило бы труда разъяснить такие сны. Настоящие трудности появляются лишь в тех случаях, когда сновидения не указывают на очевидное, а такое бывает часто, особенно если они пытаются предсказать какое-нибудь будущее. Я имею в виду не пророческие сны, а просто предчувствующие или «рекогносцирующие» сновидения. Такие сновидения содержат предчувствие возможностей, и поэтому посторонний человек понять их просто не в состоянии. Часто они непонятны и мне самому; поэтому я должен в таких случаях говорить пациенту: «Я в этом не уверен. Но давайте все же идти по следу». Как уже было сказано, единственным критерием здесь является побуждающее воздействие, причем, однако, мы еще долго не сможем поставить вопрос, чему такое воздействие обязано.

Особенно это касается сновидений, которые содержат своего рода бессознательную метафизику, то есть мифологические аналогии, причем иногда они предстают в таких удивительно причудливых формах, что ошеломляют спящего.

Разумеется, мне будут возражать: откуда я могу знать, что сновидения содержат нечто вроде «бессознательной метафизики»? Тут я должен признаться, что не знаю, действительно

ли сновидения содержат это. Для утвердительного ответа я слишком мало о них знаю. Я вижу только их воздействие на пациентов. И здесь мне хотелось бы привести один небольшой пример.

В продолжительном инициальном сновидении одного из моих «нормальных» пациентов главную роль играл факт болезни ребенка его сестры. Этим ребенком была двухлетняя девочка.

В действительности несколько лет назад у его сестры от болезни умер мальчик, но больше ни один из ее детей болен не был. Факт видения во сне больного ребенка кажется на первый взгляд недоступным разъяснению, наверное, потому, что он ни в чем не согласуется с реальностью. Поскольку между сновидцем и его сестрой не существует непосредственных и близких отношений, то в этом образе ему трудно было ощутить что-то глубоко личное. Однако тут ему неожиданно приходит мысль, что два года тому назад он начал изучать оккультизм и в процессе его изучения открыл для себя психологию. То есть ребенок, очевидно, был его душевным интересом – мысль, к которой самостоятельно я не пришел бы. Если рассматривать этот образ сновидения чисто теоретически, то он может значить все или ничего. Могут ли вообще хоть что-то значить какие-либо вещь или факт сами по себе? Несомненно лишь то, что поясняет, то есть дает значение, всегда человек, а это для психологии важно в первую очередь. То, что изучение оккультизма является чем-то нездоровым, импонировало сновидцу в качестве новой интересной мысли. Так или иначе, но это каким-то образом попало в цель. А это и есть главное: чем бы оно ни было с нашей точки зрения – оно действует. Данная мысль подвигает его на критику, и в результате происходит определенное изменение установки. Благодаря таким слабым изменениям, о которых, идя рациональным путем, нельзя было бы даже и помыслить, дело трогается с мертвой точки, и застой, по крайней мере в принципе, уже преодолен.

На примере этого случая я мог бы теперь фигурально выразиться так: сновидение подразумевало, что изучение оккультизма сновидцем является нездоровым, и если благодаря своему сну он наталкивается на такую же мысль, то в этом смысле я могу также говорить о «бессознательной метафизике».

Но я иду еще дальше: я не только предоставляю пациенту возможность вторгаться в его собственные сновидения, но позволяю это делать и себе самому. Я предлагаю ему свои идеи и мысли. Если при этом происходит суггестивное воздействие, то я это только приветствую, ведь, как известно, внушить возможно только то, к чему и без того уже есть предрасположенность. Нет ничего страшного в том, что иногда здесь возможны ошибки, потому что в следующий раз неправильное все равно будет отвергнуто как чужеродное тело. Мне не нужно доказывать, что мое толкование сновидений является правильным, – это довольно безнадежное предприятие; просто я должен вместе с пациентом искать *действительное* — почти то же самое, если бы я сказал *действенное*.

Мне представляется особенно важным делом быть как можно более осведомленным в психологии первобытных народов, мифологии, археологии и сравнительной истории религий, потому что в этих областях я нахожу неоценимые аналогии, которыми могу обогатить идеи своих пациентов. Таким вот образом общими с пациентом усилиями мы можем разместить кажущееся лишенным смысла по соседству со значительным и тем самым существенно повысить возможности воздействия. Для дилетанта, то есть для того, кто сделал все возможное в сфере личностного и рационального и все же не пришел ни к какой идее, а потому остался неудовлетворенным, способность войти в иррациональную сферу жизни и переживаний означала бы бесконечно многое. Благодаря этому может измениться представление даже о привычных и обыденных вещах, и они обнаружат вдруг новые грани. Ведь в основном все зависит от того, как мы смотрим на вещи, а не от того, чем они являются сами по себе. Малое с жизненным смыслом всегда более ценно, чем большое без смысла.

Я далек от того, чтобы недооценивать риск такого предприятия. Оно напоминает деятельность по строительству моста к небу. Можно было бы даже иронически возразить – а так не раз уже и поступали, – что, действуя подобным образом, врач, в сущности, просто фантазирует вместе со своим пациентом.

Однако такое возражение не является контрдоводом, но представляется даже вполне правильной мыслью. Я стремлюсь к тому, чтобы фантазировать вместе с пациентом, то есть в моих мыслях содержится немало от фантазии. В конечном счете она представляется мне материнской творческой силой человеческого духа. Собственно говоря, мы никогда не возвышаемся над фантазией. Конечно, существуют не имеющие ценности, непригодные, болезненные и неудовлетворительные фантазии, бесплодная природа которых очень скоро становится очевидной каждому, кто одарен здоровым человеческим разумом; однако сбой в работе, разумеется, не должны ставить под сомнение полезность самой работы. Все творения человека обязаны своим происхождением творческой фантазии. Почему же тогда в своих рассуждениях нам нельзя опираться на воображение? Обычно фантазия не ведет к заблуждению, для этого она слишком глубоко и проникновенно связана с фундаментом человеческих и животных инстинктов. Удивительным образом она снова и снова приходит на помощь вовремя. Творческая деятельность силы воображения вырывает человека из стесненности в «не что иное, как» и возвышает его до положения игрока. А человек, как говорит Шиллер, «только там целиком человек, где он играет»<sup>27</sup>.

Эффект, которого я добиваюсь, заключается в возникновении такого душевного состояния, в котором мой пациент начинает экспериментировать со своей сущностью, – состояния текучести, изменчивости и становления, где нет ничего раз и навсегда заданного и безнадежно окаменевшего. Здесь я, естественно, могу лишь в общих чертах изложить свою технику. Те из читателей, которые случайным образом знакомы с моими работами, могут в них найти необходимые параллели. Тут же я хотел бы подчеркнуть только то, что мой образ действий нельзя понимать как бесцельный и беспорядочный. В частности, я взял себе за правило ни при каких обстоятельствах не выходить за рамки того значения, которое содержится в вызывающем эффект моменте; я только стремлюсь по мере возможности довести это значение до сознания пациента, в результате чего он тоже начинает видеть его надындивидуальные связи. Если, к примеру, с человеком что-то происходит и он считает, что такое случается только с ним одним, тогда как в действительности это совершенно обычное явление, то очевидно, что данный человек не прав, то есть он чересчур ориентирован на себя и как результат этого выключен из человеческого сообщества. В равной степени необходимо, чтобы у нас было не только личное текущее сознание, но и надындивидуальное значение, дух которого ощущает историческую непрерывность. Как бы абстрактно это ни звучало, тем не менее является установленным фактом основание многих неврозов в первую очередь на том, что, например, вследствие ошибочных, наивных разъяснений больше не воспринимаются религиозные запросы души. Современному психологу в конце концов нужно однажды понять, что речь идет не о догмах и вероисповедании, а в большей степени о религиозной установке – беспредельной по своей важности психической функции. А для религиозной функции историческая непрерывность является просто-таки необходимостью.

Возвращаясь к проблеме моей техники, я должен задать себе вопрос: в какой мере я могу опираться при ее применении на авторитет Фрейда? Во всяком случае, она многим обязана фрейдовскому методу свободных ассоциаций, и я рассматриваю ее как прямое продолжение этого метода.

В то время как я стараюсь помочь пациенту разобраться в действенных моментах его сновидений и дать ему возможность увидеть общий смысл содержащихся в них символов, он

---

<sup>27</sup> Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen. 15. Brief.

сам все еще находится в некотором психологическом состоянии детства. И здесь он прежде всего зависит от своих сновидений и от ответа на вопрос, предстанет перед ним следующий сон в новом свете или нет. Далее, он зависит и от того, есть ли у меня какие-либо идеи и сумею ли я своим знанием способствовать дальнейшему развитию его мыслей. Следовательно, он находится в нежелательном, пассивном состоянии, в котором все шатко и сомнительно. Ведь ни он, ни я не знаем, куда ведет наш путь. Часто все это мало чем отличается от блуждания во тьме египетской. В таком состоянии не приходится ожидать значительных результатов, ибо слишком уж велика неопределенность. Кроме того, существует опасность, что ткань, сотканная нами днем, будет всякий раз разрываться ночью, опасность, что ничего не происходит – в полном смысле этого слова, – ничего не удерживается. В таких ситуациях нередко появляется особенно красочный сон или один из наиболее причудливых образов, и тогда пациент говорит мне: «Знаете, если бы я был художником, то сделал бы из этого картину». Или же сновидения говорят фотографиями, написанными картинами, рисунками, рукописями или даже кинофильмами.

Я стараюсь воспользоваться этими намеками и предлагаю моим пациентам тут же нарисовать то, что явилось им во сне или в фантазии. Как правило, мне приходится сталкиваться с возражением: я, мол, не художник. В ответ на это я обычно говорю, что современные художники таковыми ведь, в сущности, и не являются, из-за чего искусство живописи сегодня вне закона, и вообще дело не в красоте, а в усердии, которое прилагают к картине. Насколько это справедливо, я недавно убедился на примере одной одаренной профессиональной портретистки, которой пришлось начать рисовать по моему методу: первые попытки ее были настолько жалкие и детские, словно она никогда не держала в руке кисти. Рисовать внешнее – совершенно иное, нежели изображать внутреннее.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.